
Эрик-Эмманюэль
ШМИТТ
ФЕЛИКС
И НЕЗРИМЫЙ
ИСТОЧНИК
и другие истории

Феликс и Незримый источник и другие истории

Эрик-Эмманюэль Шмитт

Аннотация
Эрик-Эмманюэль Шмитт. «Феликс и Незримый источник» и другие истории
О цикле Незримого
Феликс и Незримый источник
1
2
Эпилог
Мадам Пылинска и тайна Шопена
Миларепа
Что нам приносит буддизм…. Интервью Бруно Мецгера с Э.-Э. Шмиттом

Аннотация

Впервые на русском три повести Э.-Э. Шмитта из знаменитого цикла Незримого, посвященного мировым религиям. Эти тексты продолжают линию таких произведений, как «Оскар и Розовая Дама» и «Мсье Ибрагим и цветы Корана». «Феликс и Незримый источник» раскрывает тайны анимизма, силу верований и удивительно поэтических обрядов Африки, а «Мадам Пылинска и тайна Шопена» дает ключ к пониманию великой силы музыки – универсального языка души. В повести «Миларепа» рассказывается о знаменитом тибетском отшельнике XI века.

Эрик-Эммануэль Шмитт
«Феликс и Незримый источник» и другие истории

Éric-Emmanuel Schmitt
FÉLIX ET LA SOURCE INVISIBLE
Copyright © Editions Albin Michel — Paris 2019
MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN
Copyright © Editions Albin Michel — Paris 2018
MILAREPA
Copyright © Editions Albin Michel — Paris 1997

© И. Я. Волевич, перевод, 2020
© Г. А. Соловьева, перевод, 2020
© И. В. Дмоховская, перевод, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство Иностранка®

О цикле Незримого

Повести Э.-Э. Шмитта, публикуемые в этой книге, входят в цикл Незримого — серию произведений, сюжетно не связанных друг с другом, но посвященных поискам смысла жизни. В каждом из них герой сталкивается с одним из ключевых моментов существования — смертью, разлукой, болезнью, войной — и обретает в этой ситуации силы идти вперед. Встреча с очередной проблемой — это одновременно встреча с духовностью.

Так, в повести «Миларепа», с которой и начался цикл, рассказывается о тибетском буддизме. В повести «Мсье Ибрагим и цветы Корана» — об исламе, вернее, об одном из его течений — суфизме. В «Оскаре и Розовой Даме» говорится о христианстве, а в «Детях Ноя» — об иудаизме. «Борец сумо, который никак не мог потолстеть» повествует о дзен-буддизме. «Десять детей, которых никогда не было у госпожи Минг»[1] — это история конфуцианства. «Мадам Пылинска и тайна Шопена» посвящена музыке. И наконец,

[1] Примечания: 1

Эти повести напечатаны в сборнике: Шмитт Э.-Э. Оскар и Розовая Дама. М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2018.

«Феликс и Незримый источник» знакомит нас с тайнами анимизма.

Эрик-Эммануэль Шмитт относится с подлинным гуманизмом к духовным исканиям человека, считая их прежде всего сокровищами мудрости и поэзии, помогающими жить.

Феликс и Незримый источник

Тот, кто смотрит зорко, в конце концов увидит.
Африканская пословица

1

— Ты не замечаешь, что твоя мать мертва?

И дядя указал на Маму, стоящую у раковины, — высокую, статную, но какую-то землисто-бледную; она только что кончила вытирать посуду, поставив последнюю тарелку на стопку остальных.

— Мертва? — прошептал я.

— Мертва!

Дядя повторил это слово своим замогильным голосом так резко, что оно заполнило всю кухню, тяжело заметалось по ней, словно ворон, слепо натыкаясь на мебель, отражаясь от стен, ударяясь в потолок, и наконец вылетело в окно, чтобы напугать соседей; его хриплый, гнусавый, пронзительный звук рассыпался во дворе осколками эхо.

А здесь, под качавшейся лампочкой, опять воцарилось молчание.

Мрачное дядино карканье ничуть не взволновало Маму — теперь она сосредоточенно пересчитывала блюдца. Я закусил губу при мысли, что ее обуял очередной приступ этой новой мании — счета: в последнее время, стоило Маме

заняться инвентаризацией вещей, она могла это делать часами.

— Мертва, мой мальчик, мертва. Твоя мать уже ни на что не реагирует.

— Но она же двигается!

— Тебя сбивает с толку такой пустяк. Но я-то разбираюсь в покойниках, — сколько уж я их навидался у нас!

— Где это — у нас?

— В деревне.

— Ты хочешь сказать — у тебя дома! А для меня и Мамы «у нас» значит «здесь»!

— В этом вашем Дурвиле?

— В нашем Бельвиле! Мы с ней живем в Бельвиле![2] — выкрикнул я.

Мне было невыносимо слышать, как дядя хает то, что для меня лично составляло предмет гордости, — Париж, этот спрут, чьим щупальцем я себя чувствовал, Париж, столицу Франции, Париж, с его проспектами и окружным шоссе, с его бензиновой вонью и пробками, с его демонстрациями, полицейскими и забастовками, с его Елисейским дворцом, школами и лицеями,

---

[2] Примечания: 2

Бельвиль — Двадцатый округ Парижа, на северо-востоке города, населенный преимущественно иммигрантами. Здесь игра слов: *фр.* Belleville — букв.: Прекрасный город. (*Здесь и далее примеч. перев.*)

с его автомобилистами, которые вечно лаются друг с другом, и собаками, которые ни с кем уже не лаются, с его коварными велосипедами, шикарными улицами и пепельно-серыми крышами, где ютятся голуби, с его блестящими мостовыми, истоптанным асфальтом, шумными магазинами и круглосуточными бакалеями, с пастями его метро и зловонными водостоками, с его серебристо-ртутной дымкой после дождя, с его сумерками, розоватыми от пыли, и оранжевыми мандаринами фонарей, с его праздными гуляками, обжорами, клошарами и пьянчугами. А уж что касается Эйфелевой башни, нашей безмятежной великанши, нашей стальной покровительницы, то любой, кто отнесся бы к ней без должного пиетета, был достоин в моих глазах вечного презрения. Однако дядя лишь пожал плечами и продолжил:

— Твоя мать родилась не здесь, она появилась на свет в буше. О, как мне нравится это выражение — «появиться на свет»! Оно так подходит для Фату — недаром же она выскользнула из чрева своей матери в одно жаркое воскресное утро. Я хорошо помню, как вспотел тогда — хоть выжимай. Ну а ты — ты в котором часу родился?

— В полпервого ночи.

— Вот видишь, так я и думал: ты появился не на свет, ты увидел тьму.

И он почесал подбородок.

— Где же это произошло?

— В больнице.

— В больнице! О господи, в больнице, — как будто твоя мать была при смерти… Как будто беременность — это болезнь… Медсестры и врачи — вот что ты увидел в первый миг, какая жалость! Бедняжка Феликс, я прямо и не знаю, способен ли ты понять, что творится с твоей матерью.

Как я ни крепился, на глазах у меня закипели слезы и я пришел в ярость. Довольно! Пора покончить с этой недостойной слабостью! Быть двенадцатилетним мальчишкой и без того тяжело, не хватало мне еще разнюниться и тем самым усугубить ситуацию, показав себя плаксивым младенцем… Злость помогла мне сдержать слезы и объявить:

— Я обожаю Маму!

Дядя положил руку мне на темя; я испугался, что эта тяжелая длань сплющит мне мозг, но нет: потная ладонь и узловатые суставы вселили в меня странное спокойствие.

— Я в этом уверен, мой мальчик. Но любить не значит понимать. Осознаешь ли ты, что твоя

мать просто погибает?

— Конечно осознаю, дядя! Поэтому я и написал тебе, умоляя приехать из Сенегала.

— Прекрасно. Тогда давай поговорим как мужчина с мужчиной.

Он уселся на стул верхом, задом наперед, и пристально взглянул на меня.

— Что тебе сказал врач?

— Что у нее депрессия.

Дядюшка Бамба вытаращил глаза и воскликнул:

— Это еще что за штука — депрессия? У нас в Африке о такой и не слыхивали.

— Это болезнь уныния. Доктора называют депрессией такое состояние, когда человек внезапно становится более подавленным, чем прежде, хотя до этого ничего не случилось; он теряет силы, опускает руки, усталость не дает ему жить активно.

— И какое же лечение предлагают врачи?

— Антидепрессанты.

— Это помогает?

— Сам видишь.

И мы взглянули на Маму, которая села на табурет — вернее, упала на него, словно марионетка, брошенная кукловодом: обмякшее тело, поник-

шие плечи, бессильно свисающие руки, нелепо расставленные ноги, безвольно поникшая голова. Былая энергия уже не соединяла и не поддерживала эти части прежней Мамы.

Дядюшка Бамба продолжал вполголоса:

— Ошибка в диагнозе. Лично я утверждаю, что Мама мертва. Ты живешь с зомби твоей матери…

— Замолчи!

— …и я тебе сейчас это докажу. Что отличает мертвого человека? Во-первых, он больше ничего не слышит.

Тут дядя грохнул кулаком по столу, но Мама и глазом не моргнула.

— Вот видишь: твоя мать глуха как тетеря.

— А может, у нее проблемы со слухом…

— Во-вторых, мертвец больше ничего не видит, даже с открытыми глазами. И в-третьих, у него пустой взгляд.

Тут я поневоле согласился: глаза Мамы, остекленевшие, как у рыбы на прилавке, ровно ничего не выражали — ни дать ни взять макрель в лотке со льдом.

— В-четвертых, кожа мертвецов меняет цвет.

И дядя ткнул пальцем в свою младшую сестру, указывая на ее лицо цвета потухшего очага —

пепельно-сероватое, нет, даже зеленоватое, — и это у Мамы, с ее прежде лоснящейся шоколадной кожей! Дядя скорбно вздохнул:

— В-пятых, мертвец не обращает никакого внимания на окружающих. Самые страшные эгоисты — это мертвецы, их уже ничто не волнует. Вот признайся: твоя мать заботится о тебе?

Побледнев, я выпалил:

— Ну… она готовит еду, убирает квартиру…

— Чисто автоматически, по привычке, как курица с отрубленной головой бегает по двору.

Я понурился, — дядины аргументы меня убедили.

А он продолжал их перечислять, загибая большой палец уже на левой руке:

— В-шестых, мертвецы не разговаривают. Вот ты когда в последний раз беседовал с матерью?

И снова у меня из глаз покатились слезы. При виде моего отчаяния дядя, еще не исчерпавший список своих доводов, не стал продолжать. Он похлопал меня по колену и заключил:

— Вот видишь, Феликс: твоя мать выглядит живой, но на самом деле она мертва.

Тут я уже разрыдался вовсю, дав волю слезам. Прощай, честь семьи! Что ж, тем хуже…

Смириться было трудно, но при этом и утеши-

тельно: наконец кто-то разделял горе, мучившее меня уже несколько месяцев; наконец кто-то принял во мне участие и я больше не буду терзаться страхами в одиночестве! Если Мамин брат и прибегал к таким беспощадным словам, то, сказанные вслух, они все-таки пугали меня куда меньше, чем угнездившиеся в моих мыслях. Да, дядя был прав: я потерял Маму, она меня покинула, я жил с незнакомой женщиной. А куда же делась та, что бросила меня? Как мне ее не хватало… Да и живет ли она еще хоть где-нибудь? Между двумя всхлипами я пробормотал:

— А ее… можно вылечить?

— Лечат живых, а не мертвых.

— И как же…

— Что «как же»?

— Как тогда быть?

— Гм…

— Никак?

— Ее нужно воскресить!

И дядя поднялся со стула — высокий, стройный, осанистый, с кожей цвета смолы и гривой цвета сажи. Гибко потянувшись, он подошел к окну, выплюнул наружу табачную жвачку, которую мусолил во рту с самого десерта (ой, хоть бы консьержка в эту минуту не мыла во дворе мусорные

баки!), и, потирая затылок, втянул ноздрями ночной воздух. Я вспомнил Мамины рассказы о том, что в ее родной деревне этого высокого жилистого силача почитали как отважного воина, бесстрашного и неукротимого защитника слабых в разгар кровавых междоусобиц. Он внушал доверие! Главное, не обращать внимания на его нынешний облик, на повадки гуляки-африканца и любовь к броским нарядам. Вот и сегодня вечером он щеголял в ярко-красных остроносых туфлях из крокодиловой кожи и костюме-тройке канареечного цвета.

Постояв у окна, дядя обернулся ко мне с самым безмятежным видом:

— Ты знаешь кого-нибудь, кто умеет воскрешать мертвых?

— Нет.

— О'кей, — флегматично откликнулся он, — тогда я сам поищу. Где ты держишь справочник?

— Справо… чего?

— Справочник. Это такая толстая книга с номерами телефонов. Желтая, в которой все люди разделены по профессиям.

— Но… но… такой давно уже нет!

— Ах вот как?

— Теперь все пользуются интернетом.

— О’кей, нет проблем, ну-ка, давай сюда свой компьютер.

Дядина беспечность вывела меня из себя, и я заорал:

— Черт подери, что ты собираешься в нем искать?! Воскресителя мертвых?

В ответ он лишь улыбнулся.

* * *

За все двенадцать лет, что я знал Маму, в ее характере никогда не проявлялось той черной меланхолии, которая сейчас подавляла все ее чувства. Жизнерадостная, энергичная, любознательная, бодрая, экспансивная, она щебетала своим певучим, звонким и сочным голосом с мягким африканским акцентом, чему-то дивилась, чем-то возмущалась, интересовалась всем на свете и чуть ли не над всем смеялась; она осыпала меня поцелуями — с раннего утра, когда будила, растирая мне спину, и до вечера, когда со смаком посвящала меня в события прошедшего дня, ибо, по ее словам, «истории нужно всегда рассказывать с пылу с жару, пока они не остыли». Мама держала кафе в Бельвиле, на улице Рампонно — это было узкое помещение со стенами шафранового цвета, где собирались окрестные жители.

Она очень хитро выбрала название для своего заведения — «На работе»: таким образом, когда кто-нибудь из завсегдатаев, облокотившись на барную стойку, беседовал по телефону с супругой, мужем, сотрудником или шефом, то на вопрос, где он в данный момент находится, мог вполне правдиво ответить: «На работе!»

«Вот почему они хранят верность моему кафе. Никто не смеет их обругать или срочно вызвать куда-то, ведь они „На работе“!» — говаривала Мама. Она здорово разбиралась во всех вещах, животных и людях, благодаря чему удачно обходила ловушки существования. Едва открыв свое кафе, она сорвала с двери туалета табличку «WC» и повесила новую — «Спокойное уединение». Рыжий пушистый кот, принадлежавший соседу-бакалейщику, полеживал возле кассы и развлекал клиентов, чихая по четыре раза в минуту. Мама так и прозвала его — Апчхи, и эту кличку тут же подхватили посетители, все до одного. Отныне они так и звали его, умирая со смеху, вместо того чтобы раздражаться, как прежде, и радуясь тому, что Апчхи чихает согласно своему имени и призванию.

Но на этом Мама не остановилась: она спасла парочку лесбиянок с улицы Биссон — двух

крепких, мрачных тридцатилетних баб, чей бесстыдный союз вызывал угрожающие комментарии суровых блюстителей нравственности, которых было немало даже в нашем квартале. Не спрашивая согласия этой парочки, Мама окрестила их Белот и Ребелот[3], каковое прозвище быстро распространилось среди местного населения, вызывая улыбки тех, кто сталкивался с обеими женщинами, — улыбки, которыми они сами в конце концов стали отвечать окружающим. Белот и Ребелот — кто бы теперь мог представить себе улицу Рампонно без этих двоих?! Не покажись они на глаза, мы все побежали бы в мэрию — заявить об их исчезновении. Вот таким простым способом — придумав эти имена, — Мама узаконила и даже сделала вполне симпатичной их связь. Она, словно добрая фея, украшала нашу жизнь. Ее дар придумывать нужные слова спас от одиночества постоянную посетительницу нашего заведения — хрупкую мадемуазель Тран, очаровательную азиатку с красновато-коричневыми глазами, слишком робкую, чтобы завязать с кем-нибудь знакомство; она ежедневно приходила в кафе и сидела, смакуя саке в крошечном,

[3] Примечания: 3

Белот — карточная игра. Ребелот (*фр*. rebelote) — 1) ход королем после хода дамой той же масти при игре в белот; 2) то же самое (разг.).

с наперсток, стаканчике. В одну из суббот, когда мадемуазель Тран проскользнула в кафе вместе с только что купленным резвым щенком пуделя, Мама посоветовала ей назвать его Месье.

— Месье?

— Месье! Послушай моего совета.

Мадемуазель Тран послушала, хотя ничего не поняла, и с тех пор у нее отбоя не стало от мужчин. На улицах, где она прогуливала своего песика без поводка, она подзывала его пронзительным криком: «Месье! Месье!» И вот результат: все местные самцы, думая, что эта соблазнительная девушка зовет их, мгновенно кидались к ней, а обнаружив свою ошибку, прыскали со смеху, краснели, гладили пуделька, за невозможностью погладить саму мадемуазель Тран, и заводили с ней разговор. Отныне у нее образовался немалый круг поклонников, из которых ей, конечно, предстояло выбрать себе мужа.

— Но главный мой шедевр — это, конечно, ты, милый Феликс! — утверждала Мама.

Она назвала меня Феликсом в полной уверенности, что это имя (по-латыни «felix» означает «счастливый») подарит мне волшебную судьбу. И она, конечно, оказалась права… Мы с ней были счастливы в нашей квартирке-мансарде, на

седьмом этаже того самого дома, где находилось кафе.

Мама воспитывала меня одна, поскольку родила от Святого Духа. И тот факт, что я родился от Святого Духа, меня вполне устраивал. Между ней и мною любой отец был бы лишним. Иногда она проводила пару-тройку часов с каким-нибудь кавалером, но не дома, а на стороне, не навязывая мне общество каких-то там мужчин. Сколько я себя помню, мне всегда было совершенно ясно, что в ее глазах я с самого младенчества олицетворял собой все, что ей было нужно, — безграничную любовь, не сравнимую ни с чьей другой. В Бельвиле знали, что она родила меня от Святого Духа: она весело рассказывала это всем подряд — соседям, клиентам, моим учительницам, родителям моих школьных товарищей. Преодолев первое изумление, ее слушатели начинали завидовать такому происхождению; иногда некоторые даже величали меня, шутки ради, Иисусом, против чего я не спорил, хорошо зная правила игры, ибо считал вполне нормальным, в таком исключительном случае, упоминание о редких прецедентах.

К тому же тот факт, что Мама родила меня от Святого Духа, не вызывал сомнений еще и потому,

что этому имелось официальное подтверждение: Святой Дух признал меня своим сыном, расписавшись в моем свидетельстве о рождении. Да-да, именно так! Для этого он соблаговолил явиться собственной персоной в нашу мэрию. Правда, с тех пор его больше никто не видел.

Тринадцать лет назад Фелисьен Сент-Эспри[4], мой родитель, антилец, капитан торговой шхуны, провел в Париже недельку, за которую успел наградить мной Маму; затем, девять месяцев спустя, появился снова, чтобы официально признать меня своим сыном. После чего Мама скрыла от него наш новый адрес. «Баста! Производитель нам больше не нужен. Не хватало еще привязаться к нему…» — заявила она. С тех пор она смотрела на мужчин, как футбольный тренер на своих игроков, отбирая их по способностям к требуемой задаче. Что не мешало ей, даже в этих узких рамках, проявлять подлинный энтузиазм.

«Красивей, чем Сент-Эспри, я никогда никого не встречала! — нередко восклицала моя мать. — Вот уж кто был хорош так хорош, со всех сторон! Впрочем, ты в этом скоро убедишься — когда вырастешь и станешь таким же красавчиком,

---

[4] Примечания: 4
Сент-Эспри (*фр*. Saint-Esprit) — Святой Дух.

как он».

Но мне вовсе и не требовалось присутствие моего родителя: во-первых, когда-нибудь, став взрослым, я смогу любоваться собой в зеркале, а главное, Мама была для меня всем — и Северным полюсом, и Южным, и экватором, и тропиками… Семья? Не проходило дня, чтобы Мамины клиенты не заявились в наше кафе к моему возвращению из школы, встречая меня кто как бабушка, кто как брат, кто как тетка; они болтали со мной, одни мимоходом, другие долго, расспрашивали о здоровье, о школьных успехах. Благодаря Маминой профессии у меня была большая семья.

И первое место среди этих завсегдатаев занимала мадам Симона. Описать мадам Симону нетрудно: она выглядела *потрепанной*. Ее кожа — прозрачная, дряблая, выцветшая, была изборождена морщинами, зубы и белки глаз с годами пожелтели. Сколько лет ей было? «Да не так уж и много», — неизменно отвечала Мама тем, кто ее расспрашивал. Но, увы, мадам Симону старила самая беспощадная из противниц — тучность: ожиревшая плоть пригибала к земле ее и без того согбенную фигуру, расплющивала волосы, утяжеляла веки, оттягивала вниз дрожащие,

дряблые щеки и уголки рта. И, кроме того, она казалась старухой из-за своих забот, а уж забот на нее свалилось — больше некуда.

Нужно сказать, что мадам Симона была шлюхой и мужчиной. Вернее, если уж излагать все по порядку, — в первую очередь мужчиной, а потом уже шлюхой. Сейчас объясню. В детстве мадам Симону звали Жюлем. Этот Жюль считал себя жертвой непоправимой ошибки природы: он родился мальчиком и тело у него было как у мальчика, но при этом в душе считал себя девочкой. Однако, вопреки его вкусам и чисто женским повадкам, Жюля вынудили вести себя по-мужски: запретили носить юбки, отрезали волосы, которые он хотел заплетать в косы, заставили говорить низким мужским голосом, а от первого лица прошедшего времени — в мужском роде; затем, поскольку он всему этому сопротивлялся, стали наказывать, осмеивать и оскорблять, короче, бороться с его врожденными качествами.

И хотя Жюль в душе продолжал считать себя девочкой, эта война не прекращалась. Лишь его тетка Симона, крайне эксцентричная особа, презираемая остальной родней, как раз и поощряла все его выверты, когда он гостил у нее. После двадцати лет борьбы с родителями, братьями,

сестрами, товарищами, соседями и преподавателями Жюль покинул родной город Люсон. Оказавшись в Париже, он переименовал себя в Симону, нарядился, причесался и накрасился так, как давно мечтал, и больше никогда не виделся с людьми из своего прошлого.

Можно было бы радоваться тому, что на этом благополучном повороте неприятности и закончились. Увы, подлинная трагедия была впереди.

…Мадам Симона приняла облик женщины, но от этого отнюдь не стала красивее. И в мужском, и в женском варианте она как была, так и осталась уродиной. Ее лицо с топорными чертами портила вдобавок асимметрия, редкие волосенки уныло свисали с макушки, зато на щеках к середине дня проступала мощная растительность, вынуждавшая мадам Симону к двоекратному каждодневному бритью. Что же касается ее туловища, то оно напоминало закрытый чемодан. И лишь ее щиколотки отличались некоторым изяществом («какая жалость, — говорила Мама, — что у нее их только две!»). Словом, у мадам Симоны не было никаких шансов найти себе жениха и вдобавок не хватало денег, чтобы исправить хирургическим способом ошибки природы. Тем более что ей упорно отказывали в праве

на заработок. Как только хозяин, желающий взять ее на работу, обнаруживал, что его будущая секретарша, согласно официальному статусу, зовется Жюлем, он грозно хмурился, еще раз внимательно оглядывал соискательницу, замечал щетину, вылезавшую наружу к трем часам дня сквозь слой убогой косметики, и, тревожась за собственное спокойствие, а также за возможную реакцию своего персонала, делал выбор в пользу другой кандидатки. То же самое с местом кассирши. То же самое с должностью в администрации. То же самое во всех других местах. Мадам Симона наводила страх на людей! Вначале она легко отнеслась к этому препятствию и, по словам Мамы, «сидела на хлебе и воде» — выражение, которое в раннем детстве я понимал буквально, представляя, как мадам Симона восседает на буханке хлеба или в корыте с водой. На самом же деле Мама имела в виду, что мадам Симона предпочла голодать, лишь бы завершить свое образование и получить диплом бухгалтера — второе амбициозное желание после стремления стать женщиной. Увы! Хотя она и получила желанный диплом, ни один патрон не пожелал взять ее на работу — по тем же причинам, что были изложены выше.

Смирившись, мадам Симона решила освоить

профессию, которую избирают все транссексуалы, отвергнутые обществом: она стала шлюхой.

Я думаю, что ее так обезобразило именно это фатальное невезение. Быть шлюхой, тогда как она всей душой презирала секс! Быть шлюхой, потому что все иные возможности были для нее закрыты! Быть шлюхой, когда она мечтала работать бухгалтером, специалистом по учету!

Мрачная, с мутным взглядом исподлобья, она проводила все вечера у нас «На работе», перед тем как заняться своей. По ночам она промышляла в Булонском лесу.

Завсегдатаи кафе, знавшие о ее ремесле, недоумевали: каким образом ей удается находить клиентов с такой-то рожей, да еще в таких кошмарных платьях с мрачными узорами — ни дать ни взять мешок с картошкой. Они видели в ней всего лишь неопрятную старую деву, на чей товар мало охотников.

— Темнота не все скрывает! Фату, сколько лет Симоне?

— Да не так уж и много!

— Ей бы хоть малость прихорошиться…

— Это все равно что безногому велеть подпрыгнуть.

— Ну все-таки… Похоже, она сама этого не

хочет!

Однажды утром, когда мадам Симона пожаловалась, что снимает всего по паре клиентов за ночь, тогда как бразильцы-трансвеститы гребут их десятками, Мама, всегда готовая помочь и желающая всех осчастливить, намекнула, что неплохо бы ей одеваться получше, чтобы подчеркивать свои достоинства.

— Фату, — возразила мадам Симона, — я тебе очень благодарна за заботу. Но я, в отличие от тебя, не могу конкурировать с красивыми девчонками, настоящими или поддельными. Поэтому я придумала себе другое амплуа — домашняя хозяйка в менопаузе. Именно потому, что я уродлива, неприглядна и неуклюжа, мужики выбирают меня. Именно потому, что я похожа на их теток, супруг, горничных, они мне платят, чтобы я проделывала то, что их тетки, их супруги и горничные никогда не согласятся с ними проделывать.

— Вот так я всегда и говорила! — торжественно заключила Мама. — Когда конкуренция набирает силу, главное — найти свою нишу!

И они чокнулись.

Лично мне мадам Симона очень нравилась. Или, вернее, мне нравилось вызывать у нее улыб-

ку. Для этого я придумал такой трюк: просил помочь мне готовить уроки. Некогда хорошая ученица, она великолепно справлялась со спряжением глаголов, легко одолевала трудности грамматики — особенно по части согласований — и блистала в математике. При виде задач на сложение, вычитание и умножение у нее загорались глаза, а уж когда я подсовывал ей уравнения, она прямо-таки ликовала; честно говоря, я нередко прикидывался дурачком, чтобы послушать, как эта несостоявшаяся бухгалтерша упоенно объясняет мне, раз за разом, все тонкости счета. Благодаря этой нашей игре я стал, сам того почти не желая, первым учеником в классе, и когда Мама показывала мадам Симоне мои отметки, та заливалась румянцем, словно эти блестящие результаты были всецело ее заслугой.

— Какую профессию ты хочешь для себя выбрать, милый Феликс? — спросила она как-то в субботу, когда они с Мамой восторженно любовались моими оценками в дневнике.

— Пока не знаю — я хочу стать либо гангстером, либо адвокатом.

— Что?! — растерянно воскликнули они разом.

— Ну, я еще не выбрал.

— Но это совершенно разные занятия! — наста-

вительно заявила мадам Симона.

— Да нет, не такие уж разные. Главное, что меня интересует в них обоих, — это право. Коммерческое право и судебное право.

— И все же, — повторила мадам Симона, — твои колебания меня удивляют…

— Я знаю! Логика требует, чтобы я выбрал ремесло гангстера, — оно доходнее. Однако временами я думаю, что деньги не главное в жизни.

— Ага, ты, значит, еще и думаешь?! — со смехом воскликнула Мама.

— Да, не часто, но случается.

Мадам Симона с гордостью посмотрела на Маму и прошептала:

— А он не так прост, наш Феликс. И далеко пойдет… если не остановят…

Среди завсегдатаев кафе, к которым я относился как к дядьям и теткам, особенно выделялся господин Софронидес, философ. Приземистый, тучный, плешивый, с огромным пузом, он взбирался на барный табурет и больше уже не сходил с него, комментируя с высоты своего насеста приход и уход клиентов, перемены в нашем квартале, последние политические, экономические и социальные новости. Послушать его, так получалось, что человечество совершает

исключительно идиотские деяния, голосует за бессмысленные законы, выбирает в правители продажных приматов и загаживает планету; при этом создавалось впечатление, что оно — человечество — допускает тяжкую ошибку, игнорируя его особу, хотя, прислушавшись к его доводам, давно уже достигло бы процветания. В раннем детстве я глубоко почитал господина Софронидеса и часто спрашивал себя, отчего президенты Франции или Соединенных Штатов, канцлерша Германии, король Бельгии и русский царь не спешат в кафе на улице Рампонно, чтобы ежедневно консультироваться с этим мудрейшим из мудрецов. Однако со временем я заподозрил, что его пафос рождается из врожденной страсти к отрицанию, а высокомерие объясняется не столько интеллектуальным превосходством, сколько тягой к огульной критике.

Мадемуазель Тран, о которой я упоминал выше, играла роль старшей сестры — молчаливой, очаровательной, с неизменной улыбкой, которая то и дело округляла ее рот и глаза, когда она издавала гортанный возглас — ррро! — восхищаясь моей новой ручкой, новым свитером или новой парой обуви. Она с безмерным восторгом относилась к вещам, особенно к модным. Поэтому я

обожал слушать похвалы из уст этой опытной потребительницы, касающиеся моих одежек, моих браслетов, моих ранцев, тетрадей и письменных принадлежностей.

И наконец, здесь был Робер Ларусс.

— Уж такой пугливый, каких свет не видывал, — утверждала Мама. — Разве что среди мотыльков…

Робер Ларусс, казалось, мог упасть в обморок в любой момент — настолько сильно все на него действовало. Стоило его окликнуть, хотя бы шепотом, как он вздрагивал от ужаса. Стоило с ним поздороваться, как он заливался краской. Если вы приносили ему заказанную выпивку, он рассыпался в благодарностях, заикаясь от полноты чувств. Услышав шум спускаемой воды в туалете, он съеживался, словно на него вот-вот обрушится Ниагарский водопад, и готов был бежать прочь. Да что там говорить: даже шорох птичьих крыльев пугал его так, будто началось извержение Везувия. По этой причине мы старались беспокоить его как можно меньше, а это было очень нелегко в таком посещаемом кафе.

До и после своей работы — починки пылесосов — он тихонько, как мышка, входил в кафе, усаживался в глубине помещения, рядом с дверью в

«Спокойное уединение», раскрывал словарь, широкий, как его впалая грудь, и начинал заучивать слова. Вот цель, которую он себе поставил, — выучить наизусть весь словарь, от корки до корки. Мы все восхищались им. Честно говоря, мы-то сами прибегали к помощи словаря лишь с одной целью — выяснить смысл какого-нибудь непонятного термина. Он же решил, что в один прекрасный вечер для него не останется никаких неизвестных слов. Ежедневно он заучивал по полстраницы, и так — шесть дней в неделю; выходной он отводил на повторение у себя дома.

Мадам Симона доставила себе удовольствие подсчитать, во что это выльется:

— Его словарь содержит 2722 страницы. Из расчета полстраницы в день, по шесть раз в неделю, ему на все понадобится 5444 дня. За год 313 из них уйдет на чтение и 52 на повторение, — стало быть, он потратит семнадцать с половиной лет до того, как узнает все значения слова «яйца».

Он взялся за это восемь лет назад. И с тех пор мы не уставали восхищаться как его проектом, так и его упорством. Глядя, как он жадно поглощает столбцы слов, мы видели в нем не голодную библиотечную мышь с острым рыльцем, бесцветными усиками и выпученными глазами в

маленьких круглых очочках, а героя, бесстрашно раздвигавшего границы невозможного.

Мы не знали его настоящего имени, потому что моя мать когда-то обратилась к нему именно так:

— Как дела, господин Ларусс?

Он задрожал всем телом.

— О, я недостоин… недостоин…

— Ну вот еще! Для меня вы и ваш «Ларусс» — все едино.

Он съежился и в панике пробормотал, ломая пальцы:

— Я скорее «Робер»…[5]

Мама расхохоталась:

— Ну вот, значит, я так и буду вас называть — Робер Ларусс.

Он поднял голову, на глазах его блестели слезы.

— Нет, я недостоин… недостоин…

После этого разговора он все же согласился на имя, которое внушало ему священный трепет и всякий раз повергало в дрожь. Однако, приняв его, он оправдывал это самозванство, шепча:

---

[5] Примечания: 5

Имеется в виду «Le petit Robert» — т. н. «малый Ларусс» (в отличие от 15-томного «большого Ларусса»), энциклопедический однотомный словарь, издаваемый с 1906 г.

— Когда-нибудь… когда-нибудь…

И тут же замолкал, слишком потрясенный перспективой завершения своего проекта.

Иногда, желая дать себе передышку, он участвовал в общих разговорах, — правда, на свой манер. Так, например, однажды утром, когда наш философ господин Софронидес рассказывал моей матери, что покушение на Гитлера никому не удалось и этот диктатор покончил жизнь самоубийством в подземном блокгаузе Берлина, из укромного уголка вдруг донесся дребезжащий голосок нашего Робера Ларусса:

— «Блокгауз, имя существительное, мужского рода, конец семнадцатого века, от немецкого „Blok“ — балка и „Haus“ — дом. Военное оборонительное сооружение со стенами и покрытием из дерева, бетона и др. Относится к системе долговременных укреплений. Синонимы: бункер, каземат, малый форт».

Все это вырвалось у него чисто спонтанно. Господину Софронидесу очень не понравилось, что его прервали и, хуже того, усомнились в его всеобъемлющей эрудиции; с высоты своего барного стула он смерил наглеца презрительным взглядом:

— Что такое?

Задрожав, Робер Ларусс еле слышно пробормотал:

— Я полагаю, в данном случае скорее следовало бы употребить слово «бункер».

— Ах вот как!

— «Надежно защищенный каземат. Немецкий. Может быть подземным».

— Да какая разница? Гитлер-то все равно покончил с собой, да или нет? — заорал господин Софронидес.

— Я… я… я не знаю. Я не изучал словарь имен собственных.

— Ну, значит, поговорим, когда вы до него дойдете!

И господин Софронидес злорадно ухмыльнулся, а Робер Ларусс, бледный и совершенно убитый, скрыл свой позор, уткнувшись в словарь.

Можно ли предугадать, с какой стороны нагрянет беда?

И кто знал, что́ именно может разрушить наше мирное существование?!

Лично меня не мучили никакие мрачные предчувствия. Мне казалось, наша жизнь всегда будет радостной, беззаботной и счастливой — вплоть до того дня, когда я — желательно как можно позже! — покину материнский кров, чтобы зажить

со своей супругой, женщиной, с которой я пока еще не познакомился, но которая наверняка уже родилась и где-то гуляет и играет с подружками. И значит, когда-нибудь мне предстояло огорчить Маму, расставшись с ней; мог ли я предвидеть, что скоро буду плакать оттого, что это Мама рассталась со мной, отрешилась от меня, хотя по-прежнему была рядом?!

Как же это произошло?

Скажу сразу: всему виной стал «Фиговый рай» — бакалейный магазинчик, примыкавший к нашему кафе. Этой бакалеей уже тридцать лет владел медлительный и педантичный господин Чомбе, великан в голубом халате, облекавшем его черное как ночь тело. И вот господин Чомбе вдруг начал кашлять — так же часто, как чихал его кот Апчхи. Мама очень уважала бакалейщика, а чутье подсказало ей, что дело неладно; она тотчас же договорилась с каким-то врачом о консультации и заставила господина Чомбе пойти к нему. Интуиция ее не обманула: у господина Чомбе обнаружили рак легких — следствие курения крепких сигарет без фильтра, которые он смолил с утра до ночи, — вечно у него свисал окурок с нижней губы. Поскольку Чомбе был одинок, он посвятил в свое несчастье только Маму:

по словам врача, жить ему оставалось месяц, от силы два.

Благодаря специалисту, чьи координаты Мама знала, поскольку записывала все сведения, услышанные в своем кафе, господин Чомбе воспользовался каким-то самоновейшим методом лечения, способным отодвинуть роковой исход и позволить ему не закрывать бакалею, которой он безмерно гордился; весь смысл его существования состоял в том, чтобы обслуживать клиентов «семь дней в неделю и триста шестьдесят пять дней в году». И представьте себе, он выжил… По вечерам Мама носила господину Чомбе еду, которую стряпала нам на ужин, и заодно исподволь выпытывала у него, как дела. Увы, по мере того, как длилась эта отсрочка, господин Чомбе становился все бледнее и бледнее; злые шутники нашего квартала насмехались над ним, утверждая, что он заболел «майклджексонитом» — манией выбеливать себе кожу. Господин Чомбе не протестовал, Мама тоже. И только я один знал причину.

Так он сражался со своим раком целый год. Но вот однажды в субботу, часов в десять вечера, господин Чомбе постучал в дверь нашей квартиры. Измученный болезнью, он сейчас походил на

собственный фотонегатив, однако не жаловался и еще менее того хотел жалости других. Поэтому он представил свой визит как чисто коммерческий, а именно: предложил Маме купить у него «Фиговый рай».

— Либо ты сохранишь его как бакалею, Фату, либо используешь, чтобы расширить свое кафе. Может, даже откроешь ресторан. Я тут подсчитал: объединив оба помещения, ты сможешь принимать одновременно полсотни человек.

В благодарность за Мамины заботы он предложил ей сходную цену. Потом ему стало плохо, он выпил несколько стаканов воды, отдышался и минут через десять извинился за свою настойчивость:

— Если ты будешь ждать моей смерти, Фату, то заплатишь много больше. Мне и без того противно оставлять свои бабки племянникам — эти лодыри только и знают, что курить травку, но совсем уж невыносимо думать, что они вытянут из тебя лишнее.

Моя мать провела бессонную ночь. Кафе она получила в наследство от родных через год после моего появления на свет; правда, для этого ей пришлось еще и взять кредит. К настоящему моменту Мама уже все выплатила банку, доказав и

самой себе, и окружающим, что вполне способна успешно вести дела. Так может, настало время пуститься в новую авантюру?

Утром, когда мы сидели друг против друга над чашками какао, она посоветовалась со мной или, вернее, произнесла четырехчасовой монолог. Поскольку у меня не было на этот счет личного мнения, я попытался уточнить, чего желает Мама, и вынудил ее подробно изложить свои соображения:

— Взять на себя бакалею? Да ни за что на свете! Ведь тогда я не буду успевать обслуживать своих клиентов, разговаривать с ними. Торговля — она подходит молчунам, таким как господин Чомбе; а я люблю общаться с людьми. И потом, держать магазин открытым семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в году — да это же не жизнь, а каторга! Другой вариант: превратить кафе в ресторан… Ну нет, лучше сдохнуть! Слишком много работы, слишком большой напряг, сплошной стресс. Либо мне придется самой париться у плиты, либо я найму повара и зарежу его, когда он мне все яйца проест.

— Мам, у тебя нет яиц, — напоминаю, если ты забыла.

— Не раздражай меня! Ты хочешь, чтоб я тебе

их показала?

— Но все-таки что ты ответишь господину Чомбе?

— Отвечу, что согласна.

— Как?..

— А так: я нашла третье решение! Там, внизу, у нас тесновато, я всегда мечтала расширить помещение. Так вот: я его продаю, покупаю на эти деньги, плюс заем в банке, бакалею и переношу туда «На работе»! Там будет намного просторней, милый Феликс, а мы сохраним и нашу клиентуру, и наш адрес. Что скажешь?

— Гениально!

Я и правда был в восторге: Мамин план гарантировал то, что для меня было важней всего, а именно стабильность, почти никаких перемен. Следующие три часа Мама продолжала обосновывать свой фантастический проект. В этом отношении обитательница Бельвиля оставалась истинной сенегалкой. Тот, кто думает, что разговор заканчивается, когда главное уже сформулировано, ничего не знает об африканских разговорных традициях… Голая идея — ничто, ее нужно облечь плотью, нарядить в одежды, расцветить яркими красками, иначе она рассыплется в прах; и этого достигают, варьируя

интонации, ритмы, слова, выражения, рассматривая ее со всех сторон — справа и слева, сверху и снизу, озвучивая пением и скандированием, шепотом и криком, пока наконец она не приобретет знакомое и привычное материальное обличье.

Когда Мама прервалась, чтобы приготовить обед, ее план нашего будущего выглядел уже таким реальным, что я бы не удивился, спустившись по лестнице, если бы попал в новое кафе «На работе».

На следующий день Мама, приверженная духу семейственности, посвятила в свой проект завсегдатаев кафе, умолчав о болезни господин Чомбе.

— Браво! — вскричала мадам Симона.

— Ррро! — восхищенно подхватила мадемуазель Тран.

— Вот это я понимаю — смелость! — объявил господин Софронидес. — Какое мужество надо иметь, чтобы предпринимать такое в стране, где душат любую инициативу!

— Признаться, дело-то каверзное, — ответила Мама, стыдливо потупившись.

Робер Ларусс закивал и с улыбкой процитировал:

— «Каверзный — заключающий в себе каверзу,

с трудом разрешимый, запутанный. Каверзное дело. Каверзный случай. Каверзная просьба…»

— Все он врет, ваш словарь! — отрезала мадам Симона. — Напротив, тут дело яснее ясного: продать, купить и расширить. А если вдобавок разнообразить меню, то эти меры быстро помогут разделаться с кредитом.

В нашей повседневной жизни этот проект сыграл роль закваски в тесте: он, точно опара, поднимался, рос и разбухал, и мы с Мамой уже воображали себя королями улицы Рампонно, а то и властелинами всего Бельвиля. Не проходило дня, чтобы мы не добавили к нашему плану какую-нибудь деталь — посуду, бокалы, окраску стен, обивку стульев, фотографии, рекламные плакаты — словом, все, что еще сильнее обостряло наше нетерпение. Мама дала согласие господину Чомбе и вывесила на нашей витрине объявление: «Продается».

Предложения не заставили себя ждать: покупатели объявились в первую же неделю.

— Ну вот мы и богаты, мой Феликс, — еще богаче, чем я думала!

Этот наплыв желающих буквально опьянял Маму — она радовалась так, будто кто-то собирался дать восьмикратную цену за ее имущество.

Она выбрала среди претендентов одного — сапожника Арама Вартаняна, человека весьма уважаемого в квартале, сочтя его достойным соседствовать с ней.

— Бедняга, ему приходилось гнуть спину в такой тесной мастерской — не больше обувной коробки!

Тут-то и начались наши несчастья. Как-то днем, в среду, в нашем кафе объявился субъект лет сорока, в темном костюме, чопорный и мрачный, как птичье чучело.

— Мадам Фату Н'Дьяйе?

Мама перестала протирать бокалы и придвинула ему стул.

— Поль Вермуле, нотариус. Я представляю интересы господина Арама Вартаняна.

— Добро пожаловать! Вы принесли обязательство запродажи?[6]

Тот откашлялся.

— У нас возникла проблема, мадам Дьяйе. Я обратился в нотариальную палату и выяснил, что вы не можете продать данное помещение.

Мама расхохоталась:

— И кто же мне помешает?

---

[6] Примечания: 6

Запродажа — предварительный договор о продаже имущества к определенному сроку.

— Закон. Согласно документам, когда вы покупали данное помещение, у его владельца была налоговая задолженность.

— Ну и что?

— Мы изучили ипотечные документы и выяснили, что продавец был обязан выплатить налоговым органам образовавшийся долг, — иными словами, сумма, полученная им при продаже помещения, должна была отойти государству.

— Ну, и?..

— К настоящему моменту государство так и не получило означенную сумму, а нотариус, оформлявший сделку, составил акт о продаже, не упомянув об этом факте.

— А я-то тут при чем?

— Если вы выставите эту собственность на продажу, вам придется возместить государству всю сумму долга.

— Здрасте вам! Это же не я должна ее вашему государству, а предыдущий владелец!

— Разумеется.

— Вот пускай и возвращает свой долг.

— Увы, он бесследно испарился. А государство с полным основанием считает, что эта сумма должна быть возвращена, поскольку она предназначалась ему еще в то время.

— Ну вот, оно и должно было взыскать с него эти денежки!

— Совершенно верно! Но оно этого не сделало.

— А нотариус был обязан занести это в договор о продаже.

— Вы абсолютно правы, в этом деле были допущены две прискорбные ошибки — государства и нотариуса.

— Так, стало быть, пусть они и отвечают.

— Да, этот аргумент можно привести на процессе.

Мама вздрогнула:

— На каком еще процессе? Кто это собирается затевать процесс?

— Вы, мадам, — если хотите продать свое кафе.

— Да, я продаю мое кафе!

— Но ни один нотариус не рискнет составить акт о продаже. Ни я и никто другой.

— Что-о-о?!

— Я уже поставил в известность господина Вартаняна нынче утром. И он, естественно, отказывается от своего намерения: это дело слишком скверно пахнет.

Вот тут он дал промашку, выразившись так круто.

И Мама вскипела от гнева:

— Это мое-то кафе скверно пахнет?! Интересно узнать, чем же это, а? Мошенничеством? Сокрытием доходов? Обманом клиентов? Я честная женщина, господин Вермуле, и всегда была такой; обслуживала клиентов, платила налоги и пошлины! А теперь, значит, должна платить налоги и за других? И вы еще смеете говорить, что оно воняет — мое кафе! Если тут от кого-то и воняло, то от этого хорька-нотариуса, который напортачил с актом, или от мерзавца-хозяина, который сбежал с моими деньгами! Нет уж, извините, но в моем кафе пахнет прекрасно, потому что им управляю я!

— Хорошо, мадам, я вас оставляю в вашем кафе, где так прекрасно пахнет.

С этими словами он гордо удалился, высоко подняв голову, выпятив грудь и отставив зад.

— Вот шут гороховый! Ты веришь тому, что он сказал? Веришь?

Я ответил недоуменной гримасой. По правде говоря, я ровно ничего не понял, — вернее говоря, все услышанное показалось мне такой дикой нелепицей, что я подумал: может, я просто не разобрался, в чем дело?

В ту среду мы еще долго сидели «На работе»: я делал уроки, а Мама прибирала, с нетерпением

ожидая завсегдатаев кафе, чтобы поделиться с ними этой невероятной новостью.

Все они сошлись в одном: какая несправедливость!

— Предосудительнейшая! — взвизгнул Робер Ларусс, страшно довольный, что подыскал такое определение.

Мадемуазель Тран оценила заявление нотариуса жестом — покрутив пальцем у виска. Что касается господина Софронидеса, то он воспользовался случаем, чтобы громогласно осудить чиновников всех мастей — «этих наглых паразитов, этих стервятников — охотников за наследством, этих гиен и шакалов»; его патетическая речь длилась не меньше получаса и очень развлекла всех нас. Особенно веселилась Мама, — от смеха ей полегчало. Сомнений не было: она просто попала на какого-то сумасшедшего, или дурака, или самозванца, — в его рассуждениях не было ни одного разумного слова.

И только мадам Симона, пришедшая позже других, приняла эту историю всерьез:

— Боюсь, что этот нотариус не такой уж безумец, дорогая моя Фату. Во-первых, в этой профессии психов не бывает: те предпочитают изображать Наполеона, Христа или фараонов.

Во-вторых, такое занятие требует полного отсутствия фантазии. А этот мэтр Вермуле рассказал тебе настолько дикую историю, что вряд ли ее можно выдумать.

— Симона, вы не смеете защищать этого беспардонного койота! — загремел господин Софронидес.

— Конечно, уж не мне, которой чиновники запрещают указывать в документах мой пол и мое имя в женском роде, вступаться за этих людей, исполнителей подлых деяний, приверженцев идиотского законодательства! И тем не менее в данном случае ситуация достигла такой степени кретинизма, что выглядит вполне правдоподобной. У кого-нибудь из вас есть знакомый адвокат?

— У меня есть! — воскликнула мадемуазель Тран. — Это друг Месье.

— Какого Месье?

— Моего пуделя.

— Ах да… И что — твой пудель близко с ним знаком?

— Да.

— До того близко, что его можно попросить о небольшой услуге?

— Думаю, да.

— Как его зовут?

— Не знаю. Но его пса зовут Эркюль. Это лабрадор. Золотистой масти. И очень симпатичный.

— Ну так улыбнись полюбезнее хозяину Эркюля и попроси его заглянуть сюда, чтобы просветить нас по части юриспруденции.

Все то время, что понадобилось щенкам для встречи у какой-нибудь сточной канавы, а мадемуазель Тран — для согласия адвоката на встречу в кафе, мы дрожали от страха.

Наконец она объявила, что мэтр Роже Куртфиль пожалует к нам в пятницу, в девятнадцать часов. Перед этим судьбоносным совещанием Мама опустила железную штору, чтобы воспрепятствовать приходу случайных посетителей кафе. Потом выключила радио, погасила верхние лампы, оставив только неоновую трубку над баром, из которой сочился слабый мертвенный свет, и велела нам сесть за большой стол, составленный из маленьких двухместных столиков. В такой позиции мы напоминали членов административного совета на совещании. Единственным, кто не выказал никакого удивления этой мизансценой, был Роже Куртфиль, полнотелый мужчина лет сорока, с резкими чертами лица, в костюме-тройке; судя по всему, он относился к миловидной

мадемуазель Тран с большой симпатией.

Размахивая документами на кафе, Мама изложила историю его приобретения одиннадцатью годами раньше, а также все подробности дискуссии с нотариусом Вермуле, которого переименовала в Вермулю[7]. Адвокат кое-что записал бисерным почерком, задал ей пару-тройку вопросов, после чего объяснил, что, вообще-то, он специалист по разводам, но тем не менее готов сделать несколько звонков, чтобы прояснить ситуацию. Сперва он поговорил с нотариусом Арама Вартаняна, которого назвал «мэтром Вермулю», очень развеселив Маму, и которому сухо представился «мэтром Куртфилем, адвокатом мадам Фату Н'Дьяйе», — что преисполнило гордостью мадемуазель Тран. В начале разговора он резким, агрессивным тоном потребовал от нотариуса объяснений, потом его голос зазвучал уже не так воинственно, теперь он больше слушал, приговаривая «о, конечно… ну разумеется», и наконец церемонно попрощался с собеседником, медоточиво назвав его «дорогой мэтр».

Эта метаморфоза привела нас в полное недоумение. А Роже Куртфиль тем временем набрал

---

[7] Примечания: 7

Вермулю (*фр.* vermoulu) — источенный червями, трухлявый.

еще один номер и начал расспрашивать какого-то своего коллегу, к которому обращался на «ты», называя его «старина», приходилось ли ему сталкиваться с такой ситуацией. По мере того как он слушал ответ, лицо его мрачнело. Выключив телефон, он почесал правое колено, поколебался, поразмыслил, взглянул на мадемуазель Тран, которая подбадривала его ласковой улыбкой, и набрал еще один номер.

— Моя бывшая супруга, — пояснил он, пряча глаза.

Нахмурив брови, он елейным голосом обменялся с бывшей супругой несколькими банальными фразами, расспросил о здоровье кучи людей, затронул вопрос об уик-энде и летнем отпуске и лишь после этого изложил Мамину проблему. Его бывшая половина, видимо, была разговорчива: он молчал несколько минут, выслушивая ее, поблагодарил, потом дал какие-то обещания, не относившиеся к нашему делу, и распрощался.

Вслед за чем, взглянув на Маму, коротко сказал:

— Бросьте это.

— Как?..

— Вы ничего не добьетесь. Оставайтесь при своем кафе и не высовывайтесь. Чем меньше

шума, тем меньше неприятностей.

— Но это мое кафе, и я с ним делаю что хочу. Я же его купила на свои кровные!

— Вы никогда не найдете на него покупателя: кому хочется платить за кафе дважды — один раз вам, второй раз — государству?!

— Но послушайте…

— Единственный выход — призвать виновника к ответу судебным порядком.

— А кто виновник?

— Нотариус, но он умер. Значит, придется судиться с его преемником.

— И я выиграю процесс?

— Мм… вряд ли. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что дело затянется надолго — как минимум, года на три, а то и на все пять. Это разорит вас вконец: половина денег уйдет на судебные издержки!

Мама разразилась горестными воплями и ругательствами, она проклинала небеса, жаловалась на судьбу и громко рыдала. Мадам Симона кинулась ее обнимать, Робер Ларусс подскочил со стаканом воды, а мадемуазель Тран, забыв о своей азиатской сдержанности, осыпала адвоката упреками по-вьетнамски. Что же касается господина Софронидеса, он громогласно обличал

все подряд:

— Какой позор! Обидеть такую женщину! Такое чудесное создание! Лучшего человека, какого я встречал на этой земле! Бесстыжее государство! Продажное правосудие! Прогнившее общество!

Что касается меня, я прижался к Маминому животу, крепко обхватив ее руками, в глупой, бессмысленной надежде, что она же сама и защитит меня от острой душевной боли, которая передавалась мне от нее. Я хотел только одного — чтобы она перестала голосить, проклинать, лить слезы.

И все же в тот день проявление ее отчаяния было естественной реакцией нормального человека. Мог ли я предвидеть, что скоро буду с тоской вспоминать, как Мама горько плакала, причитала и взывала к небесам?! Увы, та драма осталась в добром старом времени, а вот беду, которая ждала нас впереди, нельзя было представить даже в страшном сне…

На следующей неделе, после того, как Мама сняла объявление «Продается», у нее возникла странная мания все считать. Правда, мадам Симона уже давно упрекала Маму в беззаботном отношении к имуществу; вот она и начала записывать в тетрадку количество ежедневных

посетителей, проданных чашек кофе, бокалов вина, стаканов крепкого спиртного, рюмочек ликера. Но этого ей показалось мало, и она стала считать бумажные салфетки на столиках, арахис, разложенный в каждом блюдце, кухонные полотенца и губки для мытья посуды; затем подвергла учету ежедневный расход жидкого мыла, чистящих порошков и антинакипина, а следом за ними — литры воды, спускаемой в туалете, и киловатты электричества, расходуемого в кафе. Когда я высказывал удивление по этому поводу, у Мамы искажалось лицо и она жестко обрывала меня:

— Я была слишком доверчива. Теперь меня больше никто не обведет вокруг пальца.

Тогда мне казалось, что эта всеобъемлющая подозрительность, вылившаяся в манию счета, просто следствие пережитого шока; я надеялся, что она скоро пройдет, но, увы, эта мания разрослась до самых невероятных размеров; теперь Мама считала абсолютно все: сколько раз она сказала «здравствуйте», «до свиданья» и «спасибо» своим посетителям, сколько минут им требовалось, чтобы занять привычное место, а ей — поболтать с ними, пока она отмеряла заказанный напиток или ходила за лимонадом, сколько

времени она потратила на чистку мусорных корзин, на проветривание и уборку помещения.

Я всерьез испугался, когда однажды, вернувшись домой, обнаружил стопки монет в шкафу под моими трусами: оказывается, теперь Мама прятала дневную выручку в нашем белье.

— Мам, наличные лучше поскорее отнести в банк, — сказал я.

— Ну уж нет, с банками покончено навсегда! Больше я им не доверяю. Ты лучше посмотри…

Она повела меня в кухню, к холодильнику, распахнула дверцу морозилки, и я увидел там вместо традиционных коробок со льдом и мороженым пачки купюр, напиханных в пластиковый пакет.

— Вот! Я взяла все наши деньги из банка и закрыла свой счет!

— Мам, это же опасно!

— Опасно верить в честность официальной системы! Зато теперь моим денежкам ничто не грозит, даже короткое замыкание.

Помимо этих бесчисленных предосторожностей, ее мучило еще одно — необходимость сообщить печальную новость господину Чомбе.

— Ох, мой милый Феликс, я стараюсь с ним не встречаться. А этот бедняга не понимает, почему я крадусь по стенке и вихрем пролетаю мимо

его бакалеи.

В то утро я ободрил ее так же, как она прежде ободряла меня, если я, например, боялся контрольного опроса по географии:

— Мам, ты же не обязана рассказывать все как есть. Просто объясни ему, что у тебя не хватает денег и ты не можешь принять его предложение.

— Он мне не поверит.

— Ну, тогда соври, что банк не дает тебе дополнительную ссуду.

— Да он наверняка снизит цену, лишь бы мне угодить. И тогда что я ему отвечу?

— Да, верно. Лучше уж сказать ему всю правду.

— Но ведь это будет для него тяжелым ударом!

Я только кивнул и не стал ей объяснять, что она зря так переживает за бакалейщика.

Мне пришлось почти силой вытолкнуть ее из квартиры: подавленная, едва дышавшая, с потными ладонями, она шла в «Фиговый рай», как приговоренная к смерти — на эшафот.

Прошло полчаса, и вдруг раздался душераздирающий вой сирены. Высунувшись в окно, я увидел внизу, на шоссе, машину «скорой помощи» и санитаров.

Я кубарем скатился по лестнице на улицу Рампонно. Мимо меня проехала каталка с госпо-

дином Чомбе; он лежал с закрытыми глазами, бледный как смерть, под золотистой простыней, какими обычно накрывают тяжелораненых. Санитары вкатили его в машину, снова взвыла сирена, и «скорая» умчалась.

Я нашел Маму на пороге «Фигового рая», она стояла, привалившись к косяку, и выглядела такой же бледной, как господин Чомбе, нет, скорее, серо-зеленой, каким бывает зимой плющ.

— Ему что — стало плохо?

Мама не реагировала.

— Мам, ты в порядке?

Но она даже не моргнула.

Я схватил ее за руку и стал трясти, крича:

— Мама! Мама!

Наконец она очнулась и как будто увидела меня. Ее испуганные глаза налились слезами, она коснулась моей щеки.

— Я его убила.

— Что?!

— Когда он понял, что я не куплю у него магазин, он стал задыхаться, прижал руку к груди и рухнул на пол без чувств. Я его убила!

— Мама, он был болен. И давно бы уже умер, если бы ты ему не помогала. Он продержался столько времени лишь благодаря тебе, ведь это

же ты повела его к специалисту, ты заботилась о нем!

— Он бы жил еще и еще, если бы я его не предала.

Я стал ей доказывать, что, когда господина Чомбе увозили, он был без сознания, а вовсе не умер. Изо всех сил я пытался внушить Маме, что она не должна считать его покойником, а себя — его убийцей.

Увы, когда мы вошли в кафе, нам сообщили, что господин Чомбе скончался в «скорой» по дороге в больницу.

В тот день Мама закрыла кафе и заперлась в своей комнате.

Назавтра она вернулась к работе, но больше не произнесла ни слова. Завсегдатаи кафе из сочувствия к ней сделали вид, будто не замечают этого, и повели себя как обычно.

— Ррро-о-о! — восхищенно вскричала мадемуазель Тран, увидев, как Мама исписывает уже третью тетрадь.

— Фату, пора бы нам заполнить налоговую декларацию, — сказала мадам Симона, глянув на календарь.

Но Мама лишь испепелила ее взглядом, и только.

С этого момента завсегдатаи вели беседы исключительно между собой.

Наконец Мама произнесла одну фразу, когда я вернулся из школы:

— Сколько тебе лет, Феликс?

Ее вопрос меня крайне удивил: мы совсем недавно отпраздновали мой день рождения.

— Двенадцать.

— А поточнее?

— Двенадцать лет и один месяц.

— Это точно?

Я быстренько произвел мысленный подсчет и ответил:

— Двенадцать лет и тридцать три дня.

— Вот именно!

И Мама со строгой миной протерла барную стойку.

— Когда человеку исполнилось двенадцать лет и тридцать три дня, что он должен сделать, вернувшись из коллежа?

— Поцеловать мамочку?

И я бросился к ней. Но Мама, воздев руку с тряпкой, бросила на меня такой негодующий взгляд, что я замер на месте.

— Вот уж нет! Сперва пойди умойся. Ты совсем черный.

— Я?!

— Грязный, как штаны клошара. А ну, быстро в душ!

Я вышел из кафе понурившись — впервые в жизни Мама оттолкнула меня. Стоя перед зеркалом, я пытался найти следы грязи на коже или на одежде. Ничего похожего. Но все равно я подчинился приказу.

Когда я вернулся в кафе, Мама словно забыла нашу недавнюю размолвку, — теперь ее обуревала жажда деятельности.

— Ах это ты, Феликс! Ну, у тебя ноги молодые, сбегай-ка купи мне жавелевую воду, она у меня вся вышла.

Робер Ларусс из своего угла не замедлил дополнить:

— «Жавель — название местечка (ныне парижский квартал), где находился завод по производству химических веществ. Жавелевая вода — раствор солей калия хлорноватистой и соляной кислот (KOCl + KCl) — применяется как моющее, антисептическое и отбеливающее средство».

Из всего этого Мама услышала только одно слово:

— Вы сказали «отбеливающее»?

И она погрузилась в размышления. Доставая

деньги из кассы, я ее спросил:

— А где ее продают, эту жавелевую воду?

— Что за вопрос? Да рядом, в бакалее.

— Мам, эта бакалея… она закрыта.

— Как это — закрыта? Что за шутки?! Господин Чомбе никогда ее не закрывает. Она открыта семь дней в неделю и триста шестьдесят пять дней в году. И кстати, попроси его…

Но тут Мама осознала свою промашку и застыла на месте. У нее задрожали губы, она часто замигала и так вытаращила глаза, что они чуть не выскочили из орбит.

В кафе воцарилось неловкое молчание.

Мадам Симона перегнулась через стойку и схватила Маму за руку:

— Похороны состоятся завтра, Фату, на Бельвильском кладбище. Это станция метро «Телеграф». Я туда еду, хочешь, поедем вместе?

Но Мама еле слышно прошептала:

— Ты разве не знаешь? Ведь это я его убила.

Она попыталась выдернуть свою руку, но Симона ее удержала.

— Конечно нет. Ты же такая добросердечная, Фату, ты никому не способна причинить зло.

— До сих пор и я так думала. Да мало ли что я думала! Но теперь…

В этот момент она вздрогнула, как будто что-то вспомнила, резко повернулась и вдруг рухнула без чувств на пол за стойкой.

Это были последние произнесенные ею слова.

Завсегдатаи кафе решили помочь нам с Мамой пережить этот кошмар.

Утратив дар речи, Мама потеряла вместе с ним и свой интерес к жизни, и внимание к окружающим, и всю свою энергию. Ее тело изменилось буквально за одну ночь: из грациозного оно стало неуклюжим. Но на этом печальные перемены не кончились: ее взгляд помутнел и потух, кожа утратила свой лоснистый блеск. Прежний живой ум, казалось, сменился жесткой программой, заставлявшей ее механически исполнять свои обязанности — встать, умыться, приготовить нам еду, сойти вниз, чтобы работать в кафе, а в сумерках вернуться и лечь в постель. Она стала похожа на автомат: теперь ее не оживляли никакие эмоции, никакие чувства. Она по-прежнему истово — но молча — считала все вокруг, однако наряду с этим у нее появилась и другая мания — мания чистоты. Стоило мне попасться ей на глаза — что утром, что вечером, — как она жестом гнала меня в душ и заставляла мыться с мылом. А сама то и дело заходила в нашу тесную ванную, бдительно

следя за тем, как я исполняю ее приказ, и что-то бурчала себе под нос, недовольная результатом. Теперь она закупала жавелевую воду целыми литрами у москательщика с улицы Куронн и таскала на себе тяжеленные бутыли, а потом драила ею пол, стулья, столы, тротуар перед входом, и все это по нескольку раз в день. Посещаемость нашего заведения плачевно сократилась — едкая вонь гипохлорита забивала былые ароматы напитков и кофе; теперь в кафе пахло, как в больничном коридоре после дезинфекции. Мадам Симона вместе со мной отвела Маму к терапевту, который диагностировал депрессию и прописал какие-то пилюли. Голос у него был тусклый, внешность бесцветная, и он расценивал нашу ситуацию так спокойно, что его апатия меня утешила. Выходя от него, мадам Симона наклонилась ко мне и шепнула:

— Видал физиономию этого лекаря? Что ты о нем думаешь?

— Ну-у-у…

— Неужели она тебя не испугала, его рожа? Лично я думаю, что один его вид способен нагнать на человека депрессию.

— Все может быть…

— А его снадобья — все равно что кроличий

помет, результат один и тот же. Я тебе вот что скажу: если бы его антидепрессанты помогали, он бы не сидел с таким похоронным видом, ты согласен? И вот такой мрачный тип с рыбьими глазами похваляется, что его снадобья вернут больному улыбку и очистят кишки… Да я ему вот ни настолечко не верю!

И она остановилась, чтобы поразмыслить. Мама не слушала наш разговор, но заметила остановку и послушно встала у ближайшей витрины, устремив на нее пустой взгляд. А мадам Симона вдруг схватила меня за плечо:

— У вас родственники какие-нибудь есть?

— Они все умерли. Остался только дядюшка Бамба.

— Это ее брат?

— Да, старший брат. Они переписываются.

— А ты с ним знаком?

— Нет.

— Где он живет?

— В Сенегале.

— Н-да, не ближний свет… Ну, все равно: сообщи ему. И попроси приехать.

— ОК.

Она призадумалась, потом набрала побольше воздуха в грудь и скомандовала:

— Разбейся в лепешку!

— Что?

— Я говорю: разбейся в лепешку, но сделай так, чтоб он добрался сюда. Припугни его. Напиши, что твоя мать находится в ужасном состоянии!

— Но она и вправду в ужасном состоянии!

Мадам Симона сощурилась и пристально взглянула на меня:

— А ты совсем не дурак, как я посмотрю.

— Вы иногда обращаетесь со мной как с двенадцатилетним ребенком. Мне и вправду двенадцать, но я уже не ребенок, запомните это.

— Уже запомнила. Я и сама в двенадцать лет твердо знала, чего хочу.

— Вот как!

— Да! И хотела я только одного — носить юбочку из красной шотландки. Вот так-то. Что тут скажешь… В твоем возрасте человек уже соображает как взрослый.

Вернувшись домой, я написал длинное письмо дядюшке Бамбе, которого Мама всегда хвалила за мужество.

Списывая на конверт адрес со старых посланий дядюшки — «33, улица ИФ-26, Оранжевая вилла с бугенвиллеями, напротив торговца хлопковыми тканями, Дакар, Сенегал», я боролся с ощуще-

нием, что бросаю в безбрежный океан письмо в бутылке, которой никогда не суждено доплыть до порта.

Однако, к великому моему изумлению, через шесть дней дядюшка Бамба позвонил. Веселым голосом, никак не соответствовавшим ситуации, он поприветствовал меня, завел разговор, то и дело разражаясь смехом, и наконец протрубил, что все это очень кстати, он как раз собирался в Париж по делам: «Бизнес, бизнес!»

И вот неделю спустя я познакомился с дядюшкой Бамбой.

Когда он появился в кафе «На работе» — стройный, шикарный, в темно-синем клетчатом костюме, при галстуке, в перчатках и соломенной шляпе борсалино, я даже не сразу понял, кто это, решив, что к нам пожаловал клиент, работающий в каких-нибудь продвинутых массмедиа. Увидев Маму, он воскликнул: «Фату!» — и раскрыл ей объятия.

Мама посмотрела на него как на пустое место.

— Фату, дорогая моя!

Но она отвернулась и продолжила уборку.

— Фату, это же я, Бамба!

Его лицо прорезала широчайшая белоснежная улыбка, он никак не мог понять причину такого

холодного приема. Подойдя к Маме, он отвесил ей шутливый поклон и попытался привлечь ее внимание. Но, на его беду, в этот момент она была занята подсчетом арахиса в блюдцах, иными словами, все остальное для нее не существовало.

Дядюшка круто повернулся ко мне:

— Феликс?

— Да, дядя.

Он с восторгом подкинул меня вверх и крепко обнял. Не привыкший к ласкам со стороны мужчин, я с удивлением обнаружил, что его теплое тело благоухает ванилью.

— Не думал я, что она больна до такой степени, — шепнул он, опустив меня на пол.

— Да, вот так…

— Но я вижу, она все-таки работает?

— Ей помогает мадам Симона, иначе была бы полная катастрофа.

И верно: вот уже неделя, как мадам Симона, потрясенная превращением Мамы в сомнамбулу, перестала разгуливать в поисках клиентов в Булонском лесу; теперь она сидела в кафе, принимала заказы, подавала напитки, получала плату и развлекала посетителей беседой, пока Мама бесстрастно смахивала пыль, протирала мебель, мыла пол и даже тротуар перед заведением.

Дядюшка Бамба внимательно посмотрел на мадам Симону, снял шляпу, поклонился и поцеловал ей руку.

— Спасибо вам, дорогая мадам Симона! Большое спасибо от нашей семьи!

Потрясенная такой галантностью, мадам Симона пробормотала:

— О, не стоит, не стоит, это вполне естественно.

— Нет, стоит! Это говорит о вашем добром сердце. Вы — королева во всем, вы обладаете свойством соединять красоту ума с красотой тела и дарите ее всем нам. И мы ответим вам за это вечной благодарностью, мадам Симона! Не правда ли, Феликс?

Мадам Симона, которую, вообще-то, трудно было смутить, на сей раз совсем опешила.

А дядюшка Бамба обратился ко мне:

— Куда мне поставить свой багаж?

И он указал на четыре огромных чемодана, сваленных на тротуаре. Заметив мое изумление, он объяснил:

— Да-да, пришлось мне ехать налегке. С каждым годом я стараюсь брать с собой все меньше и меньше вещей.

— Но у нас очень тесно.

— Не беспокойся, Феликс, мы сейчас все устроим.

И верно: не прошло и часа, как он разложил свою одежду, головные уборы и обувь в моей комнатке, а чемоданы отнес в подвал. Затем указал на диванчик в гостиной, объявил, что будет спать на нем (да и где же еще было ему ночевать, разве что на циновке), и переоделся в костюм канареечного цвета, продолжая громко радоваться, что ему предстоит здесь жить.

В конце дня, пока Мама в энный раз драила туалет с помощью жавелевой воды, я познакомил его с завсегдатаями кафе. Они описали ему Мамино состояние, объяснили причину ее депрессии. Каждый из них рискнул прокомментировать эту историю:

— Общество множит и множит законы, чтобы политики могли убеждать простых граждан, как они заботятся о народе. В результате они ограничивают наши свободы и создают безвыходные ситуации — например, такую, в какую попала наша бедняжка Фату. Ужасная ситуация… ужасная…

— Кафкианская, — пискнул Робер Ларусс, уже добравшийся до буквы «К».

— Вот именно что кафеанская! — подхватил

господин Софронидес, непременно желавший оставить за собой последнее слово.

Дядюшка Бамба всех выслушал, всех очаровал, рассыпался в любезностях перед мадемуазель Тран, господином Софронидесом и Робером Ларуссом, но главным образом уделял внимание мадам Симоне: не спуская с нее сияющих, как бриллианты, глаз, он расточал ей похвалы, целовал руки и всячески выражал свое восхищение ее достоинствами. Эти бурные комплименты смущали мадам Симону: дядюшка Бамба явно не замечал ее двойной сущности и флиртовал с ней как с женщиной. Вечером, когда все уже расходились, Бамба подошел к ней и спросил со своей лучезарной улыбкой:

— Мадам Симона, а как поживает месье Симон?

Та изумленно воззрилась на него:

— Месье Симон?

Она решила, что этим издевательским вопросом он дает ей понять, что разгадал ее тайну, и грозно нахмурилась. А дядюшка Бамба продолжал ворковать:

— Ну да, месье Симон, господин, которому выпало счастье разделять свои дни… и свои ночи… с вами, мадам. Ах, если бы вы знали, как я завидую

ему, как завидую! Вот счастливец!

Успокоенная мадам Симона залилась багровым румянцем, потупилась, не смея взглянуть на нас, и пробормотала:

— Но… месье Симона нет.

— Что вы говорите?!

— Он… он… умер.

— О, простите меня, мадам! Примите мои искренние соболезнования. И давно?

— Десять лет как… — наугад ляпнула мадам Симона и подавилась кашлем.

Дядюшка Бамба завладел ее рукой так мягко и бережно, словно прикоснулся к редкостному цветку.

— Ах, я сразу почувствовал, что в вашей душе таится какая-то печаль, что-то непостижимое, отличающее вас от всех других.

— Ну еще бы! — вскричала мадам Симона, наконец-то ее прорвало.

— Простите?

Она тут же овладела собой и добавила нежным голоском:

— Вы все верно поняли, дорогой мой.

Когда дядюшка Бамба вышел на улицу покурить, мадам Симона повернулась к нам и свирепо прошипела:

— Первому, кто скажет ему правду, я все волосы из носа повыдергаю!

— Рррo, — откликнулась мадемуазель Тран; похоже, это напомнило ей какой-то приятный вьетнамский обычай…

А в полночь дядюшка Бамба, сидя в нашем кухонном уголке, поставил свой диагноз: по его мнению, моя мать мертва и теперь нам следует ее воскресить. Побарабанив около часа по клавиатуре моего компьютера, он с торжествующим видом повернулся ко мне и радостно объявил:

— Ну вот, завтра мы едем на консультацию.

И назавтра, в районе полудня, мы прибыли втроем — Мама, дядюшка и я — на станцию метро «Барбес». Бамба — новичок в Париже — пришел в полный восторг от металлического грохота и тряски поезда, от мелькавших над вагоном стальных балок, а при виде высоких железных решеток на станции вскричал: «Ага, вот она, значит, где — Эйфелева башня!» На эскалаторе индусы совали нам какие-то проспекты, на выходе африканцы навязывали другие; их отталкивали арабы, эти предлагали купить золотые цепочки. Вокруг нас кишела, теснилась, спешила куда-то пестрая, суетливая толпа. Зеваки расхаживали не только по тротуарам, но и по мостовой, что

удивило меня — но не дядю. Наконец мы выбрались из давки в узкий проулок, и дядя указал на жилой дом, такой ветхий и кособокий, что в него страшновато было входить. Мы поднялись по обшарпанной деревянной лестнице, покрытой протертым до дыр линолеумом, имитирующим древесину; добравшись до четвертого этажа, где воняло пригоревшим рагу, дядя нажал на грязную кнопку звонка.

Дверь отворил мужчина довольно мрачного вида, в бубу — традиционном африканском одеянии.

— Профессор Кутубу? — спросил дядюшка.

Мужчина еле заметно кивнул. Дядя представился:

— Мое имя Бамба. Я записался на прием по интернету.

Профессор скривил темно-синие губы, враждебно оглядел нас и, неохотно посторонившись, пропустил в квартиру.

— Ждите там, — бросил он, указав на комнатку рядом с тесной прихожей. Трое маленьких детей — явно хозяйских, алжирка в чадре, сидящая в скованной позе посетительницы, и европеец с аккуратно подстриженной бородкой, одетый как банкир, смотрели телевизор. Все пятеро молча

пялились на экран, где какие-то придурки в тату и телки в шортах, говорившие с марсельским акцентом, осуществляли «свою американскую мечту» в Лос-Анджелесе.

Мама присела на краешек дивана, никак не реагируя на дебильную передачу, которую благоговейно смотрели другие посетители, а я ей завидовал — вот уж кто не ведал скуки, так это она. Время от времени профессор Кутубу заглядывал в щель между портьерами, отделявшими комнату от его кабинета, прощался с уходившим пациентом и вызывал следующего. После дамы из Магриба и банкира настал наконец и наш черед.

Он завел нас в полутемную комнату, завешанную покрывалами с какими-то странными узорами. Здесь горели только свечи. Все мы уселись на циновку.

Дядюшка Бамба изложил Мамину историю. После каждой фразы профессор Кутубу произносил: «Ну разумеется» — звучным низким голосом и с такой брезгливой миной, словно дядюшка наводил на него скуку столь очевидными истинами. Он держался до того высокомерно, что трудно было усомниться в его компетентности.

Когда дядя умолк, профессор Кутубу проворчал:

— Она не мертва. На нее навели порчу. Вот и все.

— Порчу?

— Да, порчу, и сделал это недоброжелатель с необыкновенно мощной аурой.

— И как же теперь быть?

— Я обладаю даром всевидения и даром целительства. Эти волшебные свойства передаются в нашей семье от отца к сыну. Кто, по-вашему, мог навести на нее порчу?

Мы с дядей недоуменно переглянулись.

— На Маму никто не мог держать зла.

— Феликс прав.

— Хотя… нет! Один человек вполне мог рассердиться на нее — господин Чомбе. Ведь Мама собиралась купить у него бакалею, когда он боролся с болезнью. И вот, в то утро, когда она сообщила ему о своем отказе, он потерял сознание — и баста…

— Баста? — повторил профессор загробным голосом.

— Баста… Он умер десять минут спустя, прямо в «скорой». Но я хочу уточнить: у него был рак легких в последней стадии.

Профессор Кутубу надул щеки, шумно выдохнул и почесал за ухом; вид у него был довольно

мрачный.

— Можете не сомневаться: это он.

— Но ведь он умер.

— Никто не умирает! Особенно тот, кто разгневан. Он навел на нее порчу из потустороннего мира.

Дядя задрожал как осиновый лист и испуганно спросил:

— А вы можете ее снять?

Профессор Кутубу потер себе грудь, глядя мимо нас выпученными глазами, и ответил:

— Это трудно… очень трудно…

— Ну, тогда…

Профессор Кутубу обвел нас жестким взглядом.

— Но я могу! — И сказал, вперившись в дядю: — Это будет стоить четыреста евро.

— Четыреста евро?!

— Если вы рассчитывали на меньшее, то я вас не задерживаю, уходите.

— Четыреста евро…

И дядюшка Бамба с горестным видом вынул из бумажника купюры. Но когда он протянул их профессору, тот добавил:

— Плюс еще сорок евро.

— Еще сорок?!

— Это стоимость консультации.

— Разве они не включены в эти четыреста евро?

— Нет. Четыреста евро предназначены покойному. А сорок — мне. Вы должны были ознакомиться с моими расценками, они указаны в проспекте.

— О'кей.

И дядя облегчил свой бумажник еще на сорок евро. Профессор убрал деньги и взял плетенку, наполненную глиной.

— Итак, сейчас я приготовлю шарики из волшебной глины, а вы должны разбросать их по всей квартире.

И он начал месить эту глину своими толстыми пальцами, произнося при этом таинственные волшебные заклинания.

— Только по квартире? — воскликнул дядюшка Бамба. — А как же кафе?

Профессор Кутубу выдержал паузу, но все-таки снизошел до ответа на этот вполне естественный вопрос:

— И в кафе, и в квартире. Если не хватит, я вам добавлю еще несколько.

— И это… подействует?

— Результат гарантирован.

Выложив перед нами, с величественным ви-

дом, свои шарики, он обвел Маму пристальным взглядом.

— Конечно, если вы хотите, чтобы она выздоровела поскорее, я мог бы…

— Ну-ну? — нетерпеливо спросил дядя.

— Я мог бы отправиться в священный лес и помолиться за нее.

— А это почем?

— Две тысячи евро.

— Две тысячи?!

— Да. Это же в Конго.

Дядя посмотрел на шарики:

— Давайте сперва попробуем шарики, коль вы гарантируете результат.

— Я вам его гарантирую! — торжественно заявил профессор Кутубу.

Выходя из дома профессора, я вспомнил о реакции мадам Симоны на антидепрессанты, прописанные Маме врачом, и невольно почувствовал такое же недоверие к этому знахарю. И хотя мой дядюшка был в полном восторге от нашего визита, я раскрыл буклет и попробовал разобраться в нем, пока мы ехали в метро.

ПРОФЕССОР КУТУБУ

Признанный специалист по колдов-

ству.

Добивается успеха там, где другие потерпели фиаско.

Номинирован на премию «Золотой Нострадамус 2010».

Разрешит все ваши проблемы,

а именно:

Семейные конфликты. Ожирение. Похудание. Возвращение любимого человека. Запор. Сексуальная гармония. Бесплодие. Плодовитость. Успехи. Везение. Навести порчу. Снять порчу. Поставить своего врага на колени. Амулеты, защищающие от пули. Выигрыш в лото. Конкурсы. Экзамены. Прибавка к зарплате. Передышка для мозга. Рак всех видов. Разводы. Болезненные менструации. Заговор на молоке.

Внизу профессор приписал жирными буквами:

Эффективность гарантируется.

И это меня убедило.

Теперь, в ожидании Маминого выздоровления, у нас началась новая жизнь.

Правда, Мама пока еще пребывала «в отсут-

ствии», зато дядюшка Бамба вносил в нашу печальную повседневную действительность радостную нотку своей фантазии. Он щебетал, шутил, танцевал, расточал окружающим изысканные похвалы и бурно восхищался любой мелочью. У него был только один-единственный недостаток: он посвящал своему туалету полтора часа утром и столько же — вечером. И в это время в ванную никому не было доступа. Слов нет, он выходил оттуда в полном великолепии — с ясным взглядом, свежей кожей, гладко выбритым, благоухающим, шикарно разодетым; однако стоило ему там запереться, как он, в ответ на мой стук, кричал, искренне веря в свои слова: «Уже заканчиваю!» — и возился еще целый час. Поэтому я изучил его распорядок дня и теперь ухитрялся прошмыгнуть в ванную до него.

В дневное время он иногда исчезал, бросив мне с хитрой усмешкой: «Бизнес! Бизнес!» — а позже являлся в кафе, где продолжал очаровывать завсегдатаев, особенно мадам Симону — временно-постоянную хозяйку «На работе». Он осыпал ее комплиментами, достойными королевы, и она буквально расцветала при его появлении. На протяжении нескольких десятилетий она слышала от людей одни только оскорбления или

гнусные насмешки, а теперь была на седьмом небе от счастья, и ее восхищенное, потрясенное, благоговейное молчание подстегивало Бамбу, заставляя его продолжать в том же духе. Как-то раз, после закрытия кафе, когда мы поднимались в свою квартиру втроем — я, Мама и дядюшка Бамба, я ему шепнул:

— Ты и вправду считаешь ее красивой — мадам Симону?

— Мой милый Феликс, я тебе открою тайну: все белые женщины для меня на одно лицо и ни одна из них меня не возбуждает. Но я, естественно, не могу в этом признаться, иначе меня сочтут расистом.

Одолевая последние ступеньки, я задумался над этим откровением. А дядя указал на Маму, которая поднималась впереди нас скованной и вместе с тем плавной поступью.

— Ты только посмотри на зад Фату: совсем другое дело, верно?

— Эй, ты не очень-то… Все-таки это моя мать и твоя сестра!

Дядя сокрушенно покачал головой:

— Верно. Ну а ты, Феликс?

— А что я?

— Ты здесь живешь, и вкусы у тебя здешние;

как на твой взгляд — мадам Симона красивая?

— Да она просто класс! Ей бы в кино сниматься!

И дядюшка, повеселев, восхищенно присвистнул.

Прошла неделя после нашего похода к профессору Кутубу, а Мама так и не пришла в себя. Хуже того, она еще больше замкнулась, стала совсем отстраненной, оцепеневшей, неприступной.

— Ничего не понимаю, — бурчал дядя. — Колдун же нам обещал, что успех гарантирован.

Я снова обратился к проспекту, дошел до строчки **«*Эффективность гарантируется*»** и только тут заметил крошечную звездочку, означавшую примечание, которое и обнаружил в самом низу страницы.

— Дядя, смотри!

Буковки были такие мелкие, что он их не разобрал бы даже под микроскопом, поэтому я сам прочел ему:

— «Результаты зависят от индивидуальных особенностей».

— Ай-яй-яй! — воскликнул дядя и посмотрел на Маму так, словно застукал ее на каком-то ужасном проступке. — Но ты не паникуй, Феликс. Мне тут рассказали о колдуне, который владеет

другой методикой, — это некий профессор Усман. Я немедленно свяжусь с ним.

На следующий день профессор Усман, тучный бородач, явился в кафе, где мы с завсегдатаями болтали о том о сем. Он был одет в тренировочный костюм с логотипом PSG[8] и нес кейс, с какими ходят бизнесмены, никак не сочетавшийся с его спортивным нарядом.

Профессор тотчас засек в нашей компании мадам Симону и воскликнул:

— Я уже знаю, в чем проблема!

Мадам Симона взвилась с места, как ужаленная:

— Эй, ты, потише! Это она больна, а не я!

И она ткнула пальцем в Маму, которая старательно прочищала ваткой на палочке швы между кафельными плитками над раковиной.

Профессор Усман поставил свой кейс на барную стойку, открыл его и вынул оттуда дощечку, испещренную буквами и цифрами.

— Рррo! — воскликнула мадемуазель Тран. — Доска Уиджи!

— О, я вижу, мадемуазель знает в этом толк!

И он разъяснил нам, как действует доска Уиджи

---

[8] Примечания: 8

PSG (*фр.*) — «Париж — Сен-Жермен», знаменитый парижский футбольный клуб.

(или доска дьявола), которая позволяет войти в сношения с духами. Мы будем держать доску, а он капнет на нее сверху водой, и духи будут отвечать на наши вопросы, направляя эту каплю к «да» или «нет», к буквам или цифрам.

— Но это займет массу времени, если дух захочет произнести фразу, — возразил Робер Ларусс.

— Что ж, наберитесь терпения! Мертвые живут совсем в ином времени, нежели мы.

И тут все важно закивали, кроме, конечно, Мамы, которая не участвовала в разговоре.

Дядюшка Бамба был на седьмом небе от счастья, ведь это именно он разыскал колдуна, который пользовался такой замечательной репутацией в квартале Барбес, и все из-за футбола.

— Каков ваш метод? — осведомился господин Софронидес.

— Я тренирую «Париж — Сен-Жермен», — заявил колдун и скромно опустил голову, отчего его двойной подбородок стал выглядеть еще толще. — То есть это слово «тренировать» я трактую по-своему. Благодаря моему ясновидению я могу определить проблемы, с которыми игроки столкнутся в матче с будущими соперниками, и предупредить их об этом.

— Браво!

— Благодарю. Мне кажется, нам и в самом деле удался суперсезон. О, не примите это за хвастовство, тут нет моей заслуги. ведь я унаследовал свой дар от предков, родившись ясновидящим и яснослышащим.

— Простите, как вы себя назвали? — заверещал Робер Ларусс.

— Ясновидящим и яснослышащим.

— Но это второе слово — его не существует!

— Я хотел сказать, что ясно вижу и слышу.

— В «Робере» нет слова «яснослышащий»! Я досконально изучил все слова на букву «С»[9], там такое отсутствует!

— Значит, месье пользуется неологизмом! — вмешался Софронидес, желая положить конец дискуссии. — Человек имеет полное право сочинять новые слова, разве нет? Особенно если рядом стоит аналогичный термин!

Робер Ларусс, обычно такой боязливый, вспыхнул от возмущения:

— Сочинять слова?! Придумывать бог знает что?! Сначала нужно выучить и правильно употреблять те, что уже существуют! Иначе зачем

---

[9] Примечания: 9

В оригинале слово «clairaudient» (яснослышащий), действительно не существующее, начинается на букву «С», третью во французском алфавите.

нам словари?! Господи, куда мы идем?!

Но тут мадам Симона стукнула кулаком по стойке:

— Стоп! Профессор Усман пришел сюда ради Фату. Дайте ему спокойно работать.

В кафе воцарилось молчание. Бамба в энный раз поведал о несчастьях своей сестры. И честно признался, что мы консультировались с профессором Кутубу, но Мама не поддалась на его лечение.

По знаку колдуна дядя запер дверь, опустил шторы и погасил лампы.

Теперь в помещении мерцал только голубоватый экранчик мобильника, который профессор Усман положил на стойку.

Он вынул из кармана пипетку, наполнил ее водой и выпустил одну каплю на доску Уиджи. Затем приказал нам дотронуться до края доски.

— Только осторожно, не давите. Контакт должен быть максимально легким.

Все мы исполнили приказ.

Профессор закрыл глаза, поднял голову и воззвал к потолку:

— Урсула! Урсула! Ты здесь?

— Надо же, вы, оказывается, с ней знакомы? — удивилась мадам Симона.

— Урсула! Урсула! Покажись!

— И даже не мечтайте, в это время дня она дрыхнет без задних ног, наша Урсула. Еще бы — после такой ночки…

Колдун открыл глаза и смерил мадам Симону свирепым взглядом:

— Урсула — это моя путеводительница в потустороннем мире!

Сконфуженная мадам Симона виновато понурилась:

— Ой, извините, я имела в виду совсем другую Урсулу.

— Теперь никто из вас не должен говорить, пока я не дам ему слова. Понятно?

И он снова начал произносить заклинания гнусавым, приглушенным голосом. Капля воды медленно поползла по доске в сторону «да». Слава богу, Урсула присоединилась к нам!

— Урсула, не встречался ли тебе некий господин Чомбе, хозяин соседней бакалеи «Фиговый рай»?

Доска подпрыгнула, жутко перепугав нас. Колдун объяснил эту реакцию так:

— Она его боится. У кого есть вопросы?

Дядюшка Бамба откашлялся и спросил:

— Господин Чомбе сердится на Фату?

Капля уверенно приблизилась к слову «да».

— Неужели он навел на нее порчу?

Доска снова затряслась. Профессор объяснил:

— Она опасается, что ее откровенность вызовет гнев месье Чомбе, который, по всей видимости, обладает ужасными демоническими способностями.

Дядюшка Бамба вопросительно взглянул на меня. И я обратился к колдуну:

— А Урсула не согласилась бы войти в контакт с господином Чомбе и убедить его, что Мама вовсе не хотела причинить ему зло? Сказать, что, наоборот, за все предыдущие месяцы она доказала ему делом свое хорошее отношение. Может, Урсула объяснит ему, что Мама сама стала жертвой административной несправедливости?

— Прекрасная мысль, мой мальчик! — одобрительно воскликнул дядюшка Бамба.

Колдун снова воззвал к потолку:

— Возьмете ли вы на себя эту миссию, Урсула?

Капля на миг замерла и вяло поползла к слову «нет».

— Странно, — растерянно пробормотал профессор. — До сих пор Урсула всегда была готова оказать помощь.

И он громко вопросил потолок:

— Почему, Урсула? Почему?

Капля переместилась к букве «З», потом к «А», потом к «Н», и профессор облегченно вздохнул:

— «Занята»! Урсула сообщает, что она завалена работой. Что ж, вполне понятно, — такая услужливая особа… — Улыбнувшись, он сказал: — В таком случае я вам предлагаю следующее решение…

И снова обратился к потолку:

— Урсула, не позволите ли вы обратиться к вам с этим поручением завтра?

Капля поползла к «Да».

— Потрясающе! Благодарю вас, Урсула! До завтра.

Он с довольным видом потер руки и нажал на ближайший выключатель.

Вспыхнул свет, и мы все зажмурились.

— Сомнений нет, Урсула сможет убедить господина Чомбе, и Фату станет прежней.

Мы повернулись к Маме — такой замкнутой и отрешенной, словно она спала с открытыми глазами.

Мадам Симона подняла штору; тем временем колдун подошел к дяде, вытирая свою доску.

— С вас сто пятьдесят евро.

Бамба изумленно заморгал:

— Но вы же говорили «пятьдесят»!

— Из-за плотного рабочего графика Урсулы мне придется входить с ней в контакт еще как минимум дважды, чтобы она занялась вашим делом. Таким образом, исцеление Фату потребует трех сеансов. А пятьдесят евро, помноженные на три, это сто пятьдесят.

— Да… разумеется, — согласился дядя.

Профессор сунул в карман деньги и уложил в свой кейс доску Уиджи; перед тем как выйти, он подошел к господину Софронидесу и Роберу Ларуссу:

— Я обладаю еще одним волшебным свойством — обеспечивать успех парням, которые не нравятся девушкам…

Поскольку оба наши умника недоуменно пялились на него, разинув рот, он обратился к мадам Симоне:

— …и девушкам, которые не нравятся парням. Интересует?

— Иди ты в задницу! — отбрила мадам Симона сквозь зубы, достаточно тихо, чтобы ее не услышал Бамба.

Прошла неделя; не знаю, старалась Урсула или нет, но Мамино состояние ничуть не улучшилось. Мы по-прежнему жили рядом с бесчувственной статуей.

Дядюшка Бамба задумчиво почесал щеку.

— Боюсь, что нам попались колдуны-самозванцы.

— Какие-какие?

— Шарлатаны. Меня предупреждали, что в Париже их полным-полно.

Я-то сам за последние две недели подробно изучил все проспекты, полученные на станции «Барбес» во время нашего первого визита, и сейчас едва удержался, чтобы не добавить: только такие тут и есть!

— Прямо не знаю, что же еще предпринять, — прошептал дядя, впервые за все время помрачнев.

Он вообще изменился к худшему. Если Мама прочно застряла в своем нынешнем состоянии, ни туда ни сюда, то с дядей произошла печальная метаморфоза. Его покинула прежняя веселость, лицо сильно осунулось. Однажды утром, когда он встал с дивана, я вдруг сообразил, по его морщинам, по вялой, обвисшей коже, что ему уже больше пятидесяти лет, даром что на первый взгляд он производил впечатление молоденького. Теперь он уже не щебетал в кафе и вместо вина пил виски с содовой. По ночам он бесследно испарялся, приходил домой только часам к пяти

утра и выглядел вконец измотанным.

— Надеюсь, болезнь Фату не заразна, — прошептала однажды мадемуазель Тран, глядя на Бамбу, такого же пришибленного, как Мама.

— Да ты что! — возразила мадам Симона, относившаяся к моему дяде с материнской нежностью. — Просто он переживает за сестру, вот и грустит во хмелю, — сразу видно, какая это благородная душа!

— Что вы имеете в виду, Симона? — осведомился господин Софронидес, которого выпивка, наоборот, приводила в веселое расположение духа.

— Хмель выдает не то, что мы собой представляем, а то, что хотим скрыть. Он как бы разрушает плотины нашего сознания. Люди, которые в трезвом виде запрещают себе смеяться и шутить, впадают в эйфорию, напившись; другие, которые воздерживаются от жалоб на судьбу, захмелев, изливают перед всеми свою горечь. Словом, у печальных натур хмель веселый, а у веселых — наоборот, грустный. Наш дорогой Бамба так старается нас развлечь, что в подпитии его одолевает меланхолия…

Она нежно посмотрела на него:

— Какой чудесный человек!

И подлила ему виски.

Я уже вконец отчаялся исцелить Маму, как вдруг одно событие коренным образом перевернуло всю нашу жизнь. Однажды утром, а было это в понедельник, в бакалею покойного господина Чомбе вторглись неизвестные субъекты в темно-серых, цвета антрацита, костюмах, похожие друг на друга, как близнецы-братья. Они орали во всю глотку, простукивали стены, распахивали ставни, рушили оконные рамы и дверные косяки.

— Это еще кто такие? — проворчал я. — Ведут себя как хозяева.

— А они и есть хозяева, милый Феликс. Это подрядчики, которые купили бакалею.

Непонятно, каким образом слова мадам Симоны проникли в затуманенную голову Мамы. Мы-то считали, что ее мозг не воспринимает информацию извне, однако в ее глазах вдруг мелькнула искорка сознания. Мне показалось, что она все поняла. Ее застывший взгляд оживился, и она начала рассматривать этих людей с головы до ног.

— Ты видишь то, что я вижу? — шепнул я мадам Симоне.

Да, от нее это тоже не укрылось. И она кивнула, в восторге от внезапного пробуждения Мамы.

Подрядчики не разговаривали, а горланили так, будто вокруг них трудились сотни рабочих — пилили, шлифовали, заколачивали. Теперь в глазах Фату горел живой интерес: она внимательно наблюдала за ними, покусывая губы, и явно приходила в себя.

— Ого, какой прогресс! — еле слышно шепнула мадам Симона.

Мы оба понимали: нельзя показывать Маме, что мы заметили ее неожиданный возврат к действительности.

Провозившись примерно с час в бывшем «Фиговом рае», пятеро этих типов шумно ввалились к нам и бесцеремонно расселись, не дожидаясь приглашения, как на завоеванной территории. Самый рослый и самый старший из них — похоже, начальник — по-хозяйски оглядел помещение и зычно спросил:

— Скажите-ка, вы свое кафе, случайно, не продаете?

Мама — я абсолютно в этом уверен! — вздрогнула; однако, когда я пригляделся, она уже опять стояла с безучастным видом. Мадам Симона, к которой был обращен вопрос, прокашлялась и ответила:

— Нет, извините.

— Точно?

— Точно. Кафе не продается.

— Даже если мы вам предложим кругленькую сумму?

Судя по лицу мадам Симоны, она сейчас мысленно проклинала юридическую путаницу, приковавшую нас с Мамой к этому месту.

— Даже!

— Ну, мы еще с вами потолкуем, — заключил главный, явно уверенный в своих возможностях.

Затем он обернулся к остальным:

— Кофе для всех?

Те одобрительно загудели. Мадам Симона направилась было к кофеварке-перколятору и вдруг увидела, что Мама уже аккуратно расставляет чашки на подносе и засыпает в кофемашину молотый кофе. Она многозначительно подмигнула мне.

— Прекрасно, Фату, обслужи их сама.

Мы с мадам Симоной прямо не верили своим глазам, наблюдая, как Мама возвращается к жизни, реагирует на просьбу, выполняет ее. Она расставила на подносе пять блюдец и даже, мало того, попыталась улыбнуться предпринимателям.

Мадам Симона растроганно шепнула мне на

ухо:

— Спасена! Я думаю, что она выздоровела! Скорей сообщи это дяде, пускай знает!

Я уже переступил через порог, как вдруг услышал дикий крик. Обернувшись, я услышал второй такой же. Один из пятерки рухнул на пол. Другой схватился за горло. Третьего рвало. Это была настоящая бойня. Они падали, один за другим, друг на друга, точно сраженные ударом молнии!

— Помогите! — простонал их шеф.

Я взглянул на Маму: она любовалась этой сценой со счастливой улыбкой на губах, с радостным блеском в глазах.

— Господи боже мой, что она им подсыпала? — простонала мадам Симона, схватив одну из недопитых чашек. Я подошел к ней и принюхался: от кофе шел жуткий запах жавелевой воды.

— «Скорую», живо! — завопила мадам Симона.

Мама понурилась и, снова уйдя в себя, начала старательно протирать барную стойку.

Мадам Симона проявила замечательное хладнокровие — несомненно, благодаря своей профессии, в которой, как она часто повторяла, прошла «огонь, воду и медные трубы». Она вызвала «скорую помощь», дала воды тем, кто был способен открыть рот, приказав им прополоскать горло и

сразу же отхаркаться, затем — пока санитары выносили пострадавших — незаметно собрала все пять чашек и вымыла их, уничтожив таким образом все доказательства материнского злодеяния. Дождавшись, когда отчалит последняя «скорая», она положила руку мне на плечо и сказала:

— Не строй иллюзий, Феликс. На этом дело не кончится. Будет открыто следствие. Полиция начнет искать причину отравления. И Фату окажется первой подозреваемой.

— И что же теперь?..

— Ее арестуют.

— А потом?

— Начнут допрашивать.

— Ну а потом?

— Есть только два варианта — либо ее посадят в тюрьму, либо запрут в сумасшедшем доме.

Я в слезах прижался к ней.

— Ну, поплачь, малыш, поплачь. И не сообщай пока ничего дяде, он еще успеет все узнать.

Тем временем Мама вышла за порог. Даже не глянув в нашу сторону, она выплеснула ведро мыльной воды на тротуар и начала драить его щеткой. Огонек разума в ее глазах горел ровно столько времени, сколько ей понадобилось, чтобы совершить свое преступление.

В полдень, слегка придя в себя, я поднялся в квартиру и стал тормошить дядюшку Бамбу, который храпел, лежа на диване почти голым. Его тело все еще оставалось сухощавым и жилистым, как у истинного обитателя саванны. Дав ему выпить кофе, я рассказал о несчастье. Он пришел в ужас. У него дрожали руки, прерывалось дыхание. Так прошло минут десять; потом он в отчаянии пробормотал:

— Извини…

После чего, не ожидая ответа, встал, проглотил какую-то таблетку, вставил беруши и снова завалился на диван. Я посмотрел на коробочку, из которой он вынул таблетку: это было снотворное на основе целебных трав.

Честно говоря, его реакция меня вполне устраивала: я заперся в своей комнате и дал волю слезам.

Часов в семь вечера к нам в дверь позвонила мадам Симона.

— Слушай, Феликс, я вот тут подумала и решила, что есть одно решение.

— Какое?

— Полиция пока не стала нас допрашивать — твою мать и меня. А это означает, что никто из пострадавших еще не подал жалобы. И я хочу…

— Ну-ну? Что ты хочешь?

— Навестить их главного в больнице и предложить ему сделку: деньги в обмен на молчание. Я ему плачу, а он не подает жалобу. По-моему, этот мужик как раз из тех, кто клюнет на такую приманку.

— Гениально придумано, мадам Симона!

— Твой дядя с нами не пойдет?

Вместо ответа я ткнул пальцем за спину, указав на диван, с которого свисали две стройные мускулистые ноги.

— Он принял снотворное.

— Бедняжка… — прошептала она, жадно глядя на его икры и щиколотки. Но тут же одернула себя и спросила: — Сколько наличных собрала Фату?

— Тебе это известно лучше, чем мне, — ведь это ты всегда вела нашу бухгалтерию.

— Так ты согласен отдать все эти деньги в обмен на молчание?

— Конечно!

— Тогда быстренько забери все из шкафа и холодильника. А я пока сбегаю в больницу и предложу ему такую сделку.

Она помахала на прощанье дядиным ногам и побежала вниз по лестнице.

А я пошел в кухню, открыл морозилку и…

Что такое?!

Ничего. Стенки, покрытые белой сверкающей изморозью, обрамляли пустое пространство. Неужели Мама сменила тайник?

Я побежал в Мамину комнату, обшарил ящики ее комода, стенной шкаф, тумбочку у кровати.

И снова — ничего.

Затем я обыскал свою комнату, порылся в кладовке, в шкафу прихожей, в аптечке. Сердце у меня лихорадочно билось.

Ничего… Нигде ничего… Исчезли даже свертки с монетами.

Ужаснувшись, я снова начал обыскивать квартиру. Однако после часа поисков вынужден был признать очевидное: наша заначка бесследно исчезла.

В панике я кинулся к последнему месту, которое я еще не обшарил, — к дивану, на котором спал мой дядя, — и начал бесцеремонно трясти Бамбу, чтобы разбудить его. Он открыл глаза и вяло запротестовал:

— Ну, в чем дело?

— Встань с дивана, ну пожалуйста! Они наверняка там!

— Кто — они?

— Мамины сбережения.

Дядя скатился с дивана на ковер. Я приподнял подушки, прощупал их и подлокотники, пошарил внизу, под арматурой. Дядя зевнул:

— Не трудись, Феликс. Денег там нет.

— Должны быть! Это последнее место, где я еще не искал.

— Я все их растратил.

Я в ужасе застыл на месте.

А дядюшка Бамба захныкал, свирепо растирая себе виски узловатыми пальцами.

— Однажды вечером я так расстроился при виде твоей матери, что пошел играть и просадил все свои деньги. На следующий день я решил отыграться и взял — взаймы! — ее деньги, которые валялись в ящике. Но потерял и их тоже. Тогда я залез в морозилку…

И дядя повалился на пол, горестно причитая:

— Ничего не осталось! Ничего!

Я бросился на него и начал избивать, сколько хватало сил. А он только свернулся в комочек, даже не пытаясь уклониться от моих кулаков. Я кричал:

— Мерзавец! Эти деньги могли спасти Маму! — И с удвоенной силой накинулся на него. — Ненавижу тебя! Ненавижу!

А дядя со слезами причитал:

— Да, да, накажи меня, ты имеешь право.

Внезапно его вялость, его униженность стали мне так противны, что я перестал его бить, выпрямился и плюнул в него.

— С этого дня ты мне больше не дядя!

Он поднял голову и боязливо взглянул на меня:

— Но я и так не твой дядя, Феликс.

— Чего-о-о?!

— И никогда им не был. Это твоя мать считала меня своим братом. А я и не спорил…

Меня охватил ледяной озноб, я дрожал как в лихорадке и едва держался на ватных ногах. Стараясь сохранить остатки достоинства, я выкрикнул во весь голос, словно эти слова жгли мне рот:

— Так кто ты?

Он подполз ко мне:

— Я не брат твоей матери.

— Тогда кто же?

— Это длинная история. Твоя мать никогда ничего тебе не рассказывала?

— О чем?

— О своей жизни.

— Свою жизнь она провела со мной.

— Нет, о своей прежней жизни, до тебя… там…

в Африке.

Прошлое Мамы никогда не фигурировало в наших с ней беседах. До меня вдруг дошло, что она почти ничего не рассказывала о себе; я знал только, что она очень рано лишилась родителей и ее воспитывали сестры-монахини в сиротском приюте близ Дакара. Дядюшка Бамба понял, что мои сведения о Маме почти равны нулю.

— Если она тебе ничего о себе не говорила, значит и я не скажу. Мне жаль, Феликс, очень жаль…

Он торопливо сгреб раскиданную вокруг него одежду и запихал ее в сумку.

— Очень жаль…

И с этими словами скатился вниз по лестнице, словно вор, пойманный с поличным, — да он таким и был.

Часов в восемь вечера вернулась мадам Симона, очень довольная.

— Все улажено! Давай деньги.

— У меня нет денег.

— Как это?!

— Я… он… Он нас обокрал.

— Кто «он»?

— Он все стырил!

— Да кто же это «он», господи боже?!

И она заглянула мне за спину, пытаясь разглядеть Бамбу на диване.

— Где твой дядя?

— Ушел.

— Ушел?

— Да.

— Совсем ушел?

Я ничего не стал ей объяснять, но мадам Симона все поняла без слов. Ее лицо горестно сморщилось.

— Понятно, — мрачно заключила она. — Пропало дело!

Она повернулась и, сгорбившись, пошла вниз по лестнице.

— Приходи вниз, когда сможешь, я буду в кафе, с Фату.

Закрыв за ней дверь, я прислонился к косяку и без сил сполз на пол. Так я и сидел там, раскинув ноги, с одним только желанием: чтобы земля разверзлась и поглотила меня. Я знал, что завтра жизнь моя кончится: «они» придут за Мамой, наденут на нее наручники и запрут навсегда — или в тюрьме, или в сумасшедшем доме. И тогда уж я окончательно потеряю ее, еще безнадежнее, чем в предыдущие недели… Потеряю совсем… А меня, поскольку мне двенадцать лет, засунут в

какой-нибудь приют, вместе с другими забитыми ребятишками, детьми алкашей и прочего сброда. Затем — поскольку вряд ли кто-то захочет усыновить черного ребенка — меня будут таскать из одной приемной семьи в другую, и никто меня не полюбит, и я никого не полюблю. Без помощи мадам Симоны, без Маминой гордости моими успехами я наверняка брошу школу, стану с горя полным ничтожеством, и, когда явлюсь, без всяких дипломов, на рынок труда, мне либо сразу откажут, либо предоставят самое жалкое, самое унизительное ремесло, и придется его принять, если к тому времени я не загнусь от наркоты или не попаду в тюрягу.

Вот как изменчива жизнь! Этим вечером у меня отняли мое сегодняшнее и завтрашнее счастье — у меня отняли мать.

Я подошел к окну. Если меня ждет именно такая жизнь, то зачем вообще жить?! Не лучше ли разом с этим покончить? Броситься вниз — и все. Я выглянул во двор. Как всегда, меня завораживала пустота, только на сей раз, в отличие от прежних счастливых времен, она не пугала, а, наоборот, притягивала, звала.

Я влез на подоконник. Меня захлестнула волна радости: я нашел решение! Еще несколько

мгновений назад я терзался душевной болью, но теперь одолел ее. Теперь я нашел средство ее победить.

И я засмеялся: господи, как все просто…

Позади меня вдруг послышалось какое-то царапанье. Потом стук в дверь — один, второй, третий. Потом звонок.

В раздражении я уже открыл было рот, чтобы крикнуть: «Оставьте меня в покое, я кончаю жизнь самоубийством!»

Но нет, слишком поздно: любопытство, привычка к послушанию, чувство долга — словом, все прежние рефлексы заставляли меня ответить. Я слез с подоконника, и пока тащился к входной двери, меня охватило такое отчаяние, что я согнулся в три погибели и чуть не упал в обморок. Уцепившись за дверную ручку, я кое-как повернул ее и отворил.

В полумраке площадки вырисовывался рослый мужской силуэт.

— Добрый вечер. Меня зовут Сент-Эспри.

На пороге стоял мой отец.

2

Я разглядывал обе дороги. Тут острая щебенка. Там расплавленный асфальт. И если мы рискнем рвануть вперед на нашем джипе, то либо проткнем покрышки, либо намертво приклеимся к шоссе. Как говорится, куда ни кинь, всюду клин… По моему мнению, нашему африканскому вояжу пришел конец.

— Сейчас посмотрим…

Сент-Эспри — невозмутимый и безукоризненный, как всегда, — сверялся с огромными картами, разложенными на баранке и приборной доске. А мне чудилось, что под воздействием жары и эта бумага тоже вот-вот раскрошится в пыль, как сухой лист.

Я вздохнул, разозленный донельзя.

Горячий воздух безжалостно раскалил поля, дороги и жгучий песок; даже небо, совершенно безоблачное, казалось туманным.

Я глотал обильную слюну. Глотал непрерывно. Глотал сознательно. Таким образом, мне, измученному зноем, удавалось внушить себе, что солнце еще не вконец испепелило меня, что внутри моего организма еще осталась малая

толика влаги.

— Ну что ж, кажется, ситуация проясняется все больше и больше.

Зажав в зубах карандаш, Сент-Эспри сравнивал различные маршруты и улыбался, явно восхищенный собственной смекалкой. Вот уж наказание так наказание — иметь отца! Честно говоря, я бы предпочел обойтись без оного. Его самонадеянность, его убеждения, вера в собственные возможности, непринужденная мужественность и прочие блестящие качества приводили меня в полное уныние. Рядом с ним я казался себе жалким, беспомощным младенцем: росточком ему до бедра, хилый, тонкий как соломинка, с вялыми, неразвитыми мускулами; мой голос все время срывался на дискант, тогда как его баритон соперничал с виолончелью. Вдобавок, как и описывала мне Мама — еще в те времена, когда она говорила, — Сент-Эспри был очень красив. Нестерпимо красив. Стоило ему где-нибудь появиться, как люди смотрели на него, затаив дыхание. И мужчины, и женщины, не важно кто, все оборачивались на него, прерывали разговоры и, позабыв о своих делах и заботах, любовались этим красавцем. Одним своим присутствием он давал им урок безупречных пропорций. Высо-

кий, стройный, гибкий, с широкими плечами и тонкой талией, он гармонично сочетал в себе силу и грацию: едва увидев его мускулатуру, люди с удивлением отмечали изящество его рук и ног; пораженные этой гигантской фигурой, они тут же угадывали в ней аристократическую утонченность. Его кожа цветом напоминала крем-карамель — такая же гладкая, мягкая и маслянистая, без единой морщинки, без единого изъяна. Губы — пухлые, красиво очерченные — открывали в улыбке два ряда белоснежных сверкающих зубов. Ему не требовалось никаких усилий, чтобы выглядеть красавцем. Хуже того, он держался так, словно эта красота была для него неудобным даром богов, и эта скромность, эта стеснительность делали его еще более привлекательным. Так же как особе королевской крови не требуется доказывать свое высокое происхождение, так и он не изображал соблазнителя, в отличие от Бамбы; напротив, двигался с невозмутимым спокойствием хищника, в любую минуту готового к прыжку. Любой мальчишка был бы счастлив иметь такого отца. Любой — но только не я. Его совершенство меня раздражало. Я злился, видя, что он-то не потеет, что его бежевая рубашка поло остается девственно-чистой,

несмотря на сжигавшую нас сорокаградусную жару. В моих глазах его главный недостаток состоял именно в отсутствии недостатков.

Он провел мизинцем линию на своей карте и с довольным видом объявил:

— Сиеста!

Вот на сей раз я его одобрил. Наконец-то здравое решение, самое лучшее за долгое время путешествия! Я откинул свое кресло. Мама, сидевшая сзади, уже спала. Африка действовала на нас с ней совсем по-разному. Насколько я ощущал себя здесь чужим, настолько же она была тут в родной стихии. И держалась в своем оцепенении так же спокойно и доверчиво, как ребенок, которого уложили спать в холодке. Она, конечно, по-прежнему не разговаривала, не слушала, не смотрела по сторонам — никаких перемен к лучшему, — однако ее тело наливалось какой-то новой, чисто животной силой. Вот как губка, пропитанная водой, дает ей свободно стекать, так местная засуха оживляла Маму.

Сент-Эспри подмигнул мне и надвинул на глаза шляпу.

— Приятных тебе снов, милый Феликс!

Да, совсем забыл сказать: мой родитель вдобавок еще и любил меня и демонстрировал это

каждую минуту!

В общем, все последние недели я терпел адские мучения… Мама вела себя как зомби, а неизвестный отец буквально обожал меня.

Я устроился поудобнее и закрыл глаза. В такой кошмарной жаре заснуть нельзя, можно только погрузиться в бесчувственное состояние. Что я и сделал — словно оступился и с облегчением полетел в бездонную пропасть забытья.

Тогда, в Париже, в самый страшный вечер моей жизни, Сент-Эспри появился в дверях нашей квартиры, как само Провидение. Должен признать, что он моментально вник в ситуацию и оказался на высоте положения. Поставленный в известность Бамбой — дядей, который не был моим дядей и который разыскал его координаты через интернет, — он воспользовался стоянкой своего корабля во Франции, чтобы добраться до Бельвиля, найти бывшую возлюбленную и встретиться с родным сыном.

В своем письме Бамба не скрыл от него плачевное состояние Мамы, зато умолчал о том, чем кончилась эта история. Это я объяснил своему родителю причину внезапного пробуждения Мамы в то роковое утро: она пришла в себя лишь для того, чтобы совершить преступление. Пятеро

отравленных подрядчиков находились в больнице, и мы боялись, что они подадут на нее жалобу. Если бы мы смогли купить их молчание путем жирной взятки, они не стали бы поднимать шум, но у нас пропали все сбережения. Я не хотел упоминать о роли Бамбы в этом бедствии, потому что инстинктивно чувствовал, что такая развязка позволит Сент-Эспри выступить в совсем уж благородной роли спасителя. Моя первая встреча с этим незнакомцем привела меня в восторг: мы беседовали — пусть даже и на грустную тему — как мужчина с мужчиной, как люди, несущие ответственность и за себя и за других. По его лицу я заметил, что он одобряет мое здравомыслие.

— Отведи меня к твоей матери, — решительно сказал он.

Мы вошли в кафе, где мадам Симона уже опустила железную штору и приглушила свет, чтобы нам не мешали случайные посетители. Признаюсь: еще несколько секунд я надеялся на чудо: а вдруг Мама исцелится при виде Сент-Эспри? В кино можно часто видеть такие сцены, когда возвращение близкого человека пробуждает память того, кто, казалось бы, безнадежно замкнулся в себе.

Увы, реальная жизнь похожа на фильмы не

больше, чем фильмы на реальность… Мама посмотрела на Сент-Эспри как на пустое место, не обратила на него никакого внимания.

Реакция последовала со стороны мадам Симоны: она вперилась в пришедшего со словами:

— Черт подери!

— Простите?

— Я сказала: черт подери!

Сент-Эспри поклонился ей:

— Добрый вечер, я отец Феликса.

Это заявление привело меня в полное замешательство. Какой еще отец?! Что он мелет?! Он не был моим отцом, он был любовником моей матери, случайным любовником, транзитным любовником, источником спермы, которую она выбрала, чтобы произвести меня на свет. Я не испытывал к нему никаких родственных чувств. Тоже мне — отец Феликса!

— А я сразу это усекла, — отрезала мадам Симона. — Фату мне все рассказала…

— Вот как? И что именно?

— Что вы… ну… что вы…

— Так что же?

— Я-то думала, она прихвастнула… но нет, вовсе нет.

Она густо покраснела и, нагнувшись ко мне,

прошептала:

— Знаешь, Феликс, будь я таким, как он, мне, может, и захотелось бы остаться парнем.

Я пожал плечами. Меня меньше всего интересовала красота моего папаши; даже его появление казалось мне ненужным: я с малых лет привык жить и думать самостоятельно, без него. И его присутствие уже начинало меня раздражать. Тем временем к нам подошли завсегдатаи бара.

— Ррро! — воскликнула мадемуазель Тран, застыв в изумлении перед Сент-Эспри.

Робер Ларусс и господин Софронидес только чопорно кивнули ему в знак приветствия, не смея заговорить, и вернулись на свои табуреты. Судя по их лицам, красота моего родителя внушала им робость, но при этом ничуть не задевала их достоинства. Находясь на высшей степени совершенства, она создавала некое равенство вокруг себя: все некрасивые, заурядные — словом, обычные люди образовывали единое, однородное сообщество, в котором никто не мог с ним соперничать. В результате он не унижал безобразных, а, напротив, поднимал их до общего скромного уровня, за что они чувствовали к нему смутную признательность.

Вместе мы обсудили сложившуюся ситуацию.

Мадам Симона повторила: для подрядчиков главное — башли. И если им ничего не достанется, они будут преследовать Фату по закону: подадут на нее в суд и получат денежную компенсацию, а она потеряет свободу. Короче, будущее грозило ей тюрьмой и долгами. Или психушкой и долгами.

— Вот разве только сбежать… — подсказала мадам Симона, обращаясь к Сент-Эспри.

— Да, увезите ее отсюда! — одобрительно воскликнул господин Софронидес.

— Возьмите Фату на свой корабль, и ее не найдут, — добавила мадемуазель Тран.

Но тут уж я не вытерпел и взял слово:

— Минутку! Что это вы распоряжаетесь моей матерью, как вещью! А я — что будет со мной, если она сбежит с этим господином?

— Я твой отец, Феликс.

— Ну да, отец — на один вечер! После двенадцати лет отсутствия. Если ты надеешься украсть у меня Маму, то напрасно беспокоишься!

И тут до них дошло, что я обозлен до крайности и вот-вот расплачусь. Меня била дрожь, я весь вспотел и уже начал жалеть, что не выбросился из окна седьмого этажа, избавив себя от этой гнусной сцены.

— Феликс прав, — подтвердил мой родитель. —

Бегство не решит нашу проблему. Я заплачу подрядчикам, чтобы заткнуть им рот.

Он достал из кармана пиджака бумажник шагреневой кожи, раскрыл его, и оттуда выпала целая колода банковских карточек, которые, словно повинуясь рукам фокусника, веером разлеглись на столе. Их было великое множество — голубые, платиновые, золотые. Из многих банков. Из многих стран. Просто супер, ничего не скажешь!

Мы уже всему перестали удивляться: нам с первой же минуты стало ясно, что мой родитель выше всяких похвал. Во всем — во внешнем облике, в элегантности, в моральном отношении, в благородстве, в рыцарском духе. И тот факт, что он был еще и богат, только дополнял эту картину.

Он спросил у меня, каким банкоматом можно воспользоваться, и я отвел его к нужному. Двадцать минут спустя он вручил мадам Симоне толстую пачку денег со словами:

— Спасибо вам за поддержку, мадам Симона. Мы рассчитываем на вас.

«Мы»? Это значит, Сент-Эспри и я? Он то и дело объединял нас в своих высказываниях. И хотя я тем вечером главным образом переживал за

Маму, меня это дико злило, и чем дальше, тем больше…

Когда мадам Симона ушла, мадемуазель Тран спросила у Сент-Эспри:

— А где вы будете ночевать?

Я чуть было не предложил ему диванчик, так недавно покинутый дядюшкой Бамбой.

— О, не беспокойтесь, я забронировал номер в ближайшей гостинице.

И мадемуазель Тран шепнула мне на ухо:

— Настоящий джентльмен! Он даже не пытается воспользоваться ситуацией…

— Сю-сю-сю! — буркнул я, высмеивая слащавый тон мадемуазель Тран. Ух, до чего же меня раздражал этот человек, который нравился всем на свете, кроме меня! И что только моя мать нашла в этом субъекте?! У него было все!

На следующее утро, едва мы расположились у стойки, мадам Симона вручила Сент-Эспри лист бумаги — заверение, подписанное всей пятеркой подрядчиков, в том, что они никогда не будут подавать жалобу на вред, нанесенный их здоровью владелицей «На работе» в день, когда они посетили ее кафе.

Сент-Эспри поблагодарил ее, аккуратнейшим образом сложил листок и спрятал его во внутрен-

ний карман пиджака, идеально подходивший по размеру.

— Уф! — выдохнул он. — Я на него потратил почти все мои сбережения.

И он мне улыбнулся. Я ответил ему гримасой, означавшей улыбку.

— Что же вы намерены делать дальше? — осведомилась мадам Симона.

Я испепелил ее яростным взглядом. С какой стати она обращается к нему?! Он что — стал владельцем кафе за одну эту ночь? Полновластным хозяином?

Высшей инстанцией? Или, может, мне снится страшный сон?

— Я хочу провести два-три дня около Фату, чтобы разобраться в ее состоянии, а дальше мы решим, — ответил он, повернувшись ко мне.

Я метнул на него мрачный взгляд, и он обеспокоенно спросил:

— Ты сомневаешься, Феликс?

— Мы уже испробовали и докторов и колдунов. Что же нам остается?

— Психология.

Мы все изумленно воззрились на него. Такого термина в нашем кафе еще не слыхивали. Под шум общего разговора я тихонько пробрался к Ро-

беру Ларуссу и присел рядом с ним на банкетку.

— Что это за штука такая — психология?

— Я еще не дошел до буквы «П», — плаксиво признался он.

— Ну так давайте посмотрим в словаре.

— Нет, это не по мне… я так не могу…

— Чего не можете?

— Нарушать свою программу.

— Вот что: давайте скажем, что я сам прочел это в словаре, а не вы.

— Ну, тогда ладно.

И он протянул мне свой драгоценный том. Перелистав его, я остановился на странице 2037:

— «Психология — наука, изучающая возникновение мыслительной деятельности человека, 1588. Научное исследование феноменов разума и мыслительной деятельности, характерных для некоторых живых существ, как то: высших млекопитающих и людей, которые обладают сознанием собственного существования».

— Впечатляюще! — прокомментировал Робер Ларусс, кусая губы.

— Или вот еще определение номер два: «Эмпирическое, спонтанное знание чувств другого человека, помогающее понять и предвидеть его поведение».

— А это совсем уж потрясающе! Твой отец меня просто поразил…

Я оторвался от словаря:

— Что такое «эмпирическое знание»?

Робер Ларусс прикрыл глаза и, очень довольный тем, что может ответить, не прибегая к словарю, выдал мне определение:

— Это все равно что инстинктивное. Иными словами, знание, почерпнутое из общепринятого опыта, в котором нет ничего рационального и которое не опирается на научные медицинские данные. Людей, использующих такие знания, обычно называют шарлатанами или знахарями.

При последних словах он почувствовал, что дал маху, и пристыженно заморгал:

— Ох, извини, я очень сожалею…

— А уж как я-то сожалею…

Неужто нам грозит новый парад целителей-самозванцев? Мы ведь еще не пробовали втыкать иголки в кукол, зарывать ночью в полнолуние луковицы, колдовать на молоке…

Но тут подошел Сент-Эспри и, нагнувшись, внимательно оглядел меня. Казалось, его переполняет счастье.

— Мадам Симона, мадемуазель Тран…

— Да? — отозвались они хором, заранее готовые

согласиться с любыми его словами.

— Ведь это видно, не правда ли, сударыни, это видно?

— Что видно? — переспросили они все так же дружно.

— Что мы любили друг друга, Фату и я. — И, распрямившись, он указал на меня: — Взгляните: разве в чертах Феликса не запечатлелись счастье и радость детей, зачатых в любви? Его лицо сияет райским блаженством.

Растроганные мадам Симона и мадемуазель Тран со слезами на глазах любовались моим родителем и мной. Что касается Мамы, то она откупоривала новую бутылку жавелевой воды, и мысли ее витали где-то очень-очень далеко.

Сент-Эспри опустился передо мной на колени:

— Мы с твоей матерью обожали друг друга. Обожали! И никто не смог заменить ее в моем сердце. Она чуть не разбила его, когда сбежала от меня вместе с тобой.

Мне очень хотелось возразить, что от матери я такой версии не слышал, но я смолчал, вспомнив любимую присказку мадам Симоны: каждый человек нуждается хотя бы в маленькой иллюзии, чтобы выжить. Поэтому я ограничился ехидным вопросом:

— Так, значит, ты доволен, что она больна, да или нет?

Моему родителю понадобилось три дня, чтобы изучить Мамину болезнь.

Завершив свои наблюдения, он торжественно назначил нам встречу в кафе «На работе» к концу дня. Мама присутствовала на ней в числе всех прочих, присев на корточки в туалете, со шваброй в руке.

Сент-Эспри сел за стол, скрестил свои длинные ноги и объявил:

— Я понял!

Мы все — мадам Симона, мадемуазель Тран, Робер Ларусс, господин Софронидес и я — окружали его подобно ученикам, готовым внимать словам пророка. Он указал на бутылку моющего средства, водруженную на стойку, и выдал нам свое заключение:

— Жавелевая вода!

— Что-что?

— Фату страдает синдромом жавеля.

Этот диагноз был встречен недоуменным молчанием: мы не улавливали его смысл, но он так сбил нас с толку, что мы поневоле стали слушать внимательнее. А Сент-Эспри помассировал свои тонкие запястья и продолжил:

— Вы заметили, что Фату все протирает жавелевой водой? Почему? Да потому что ей хочется очистить мир, который нанес ей обиду, — вот она и пытается дезинфицировать его, избавить от вирусов, струпьев, микробов, язв, бактерий и прочих гадостей. Она решила покончить со злом. Но этим дело не ограничивается. Есть еще один момент, самый важный, который все объясняет.

— Какой же? — прошептала мадемуазель Тран, изнывая от нетерпения.

— Она выбрала для этого жавелевую воду. Мадам Симона, вы здесь занимаетесь бухгалтерией: сколько литров этой воды Фату расходует за неделю?

— Двадцать пять! Целое состояние! Но я ей не перечу: эти несчастные двадцать пять литров жавеля — единственное, что ее хоть как-то поддерживает.

Сент-Эспри оглядел всех нас и спросил:

— А почему?

Вместо ответа мы хором повторили:

— Почему?..

«Ученики пророка, истинно говорю вам!»... Сент-Эспри обладал таким магнетизмом, что собравшиеся благоговейно внимали ему, ловя каждое слово. Он улыбнулся:

— Потому что Фату хочет все отбелить. Вот главное свойство жавелевой воды: она не только очищает, она еще и отбеливает. И это самое важное: выбрав жавелевую воду, Фату тем самым говорит нам не только об окружающей среде, которая внушает ей отвращение, она говорит нам о себе.

— О себе? — повторил как эхо Робер Ларусс.

Ну прямо-таки месса, ей-богу!

Сент-Эспри нагнулся ко мне:

— Феликс, она когда-нибудь рассказывала тебе о своем детстве, о родной деревне, о школе?

— Нет.

— О своих родителях?

— Э-э-э… нет.

— О братьях и сестрах?

— У нее только один брат — Бамба.

Сказав это, я прикусил язык: только бы он не начал меня расспрашивать, иначе я проговорюсь и все узнают, что Бамба, мой самозваный дядя, нас обчистил.

— Бамба не брат Фату, — поправил Сент-Эспри.

— Как?! — воскликнула мадам Симона. — Бамба ей не брат?

Мой родитель посерьезнел:

— Бамба мужественный человек, некогда он

сыграл важнейшую роль в жизни Фату, хотя и не принадлежит к ее семье.

Я насторожился: откуда Сент-Эспри известна эта тайна? Но он как будто угадал мои мысли, потому что тотчас же объяснил:

— Бамба сам все мне рассказал. Феликс, у твоей матери было четверо братьев и три сестры. Упоминала ли она о них?

— Нет.

— Описывала ли когда-нибудь Африку? Сенегал? Мавританию?

При каждом названии я только мотал головой, пристыженный собственным молчанием. Никогда раньше я не замечал этих белых пятен на карте моей памяти: Мама как-то исподволь внушила мне, что ее жизнь началась одновременно с моей, и я, как избалованный, беззаботный эгоист, искренне верил в это.

— Возила ли она тебя в черные кварталы Парижа — в Золотую Каплю, в Шато-Руж, в Страсбур-Сен-Дени, на рынок Дежан?[10]

— Нет, она ненавидела эти места и запрещала мне посещать «гетто». Мы даже к тамошним па-

---

[10] Примечания: 10

Золотая Капля, Шато-Руж, Страсбур-Сен-Дени, рынок Дежан — неблагополучные парижские кварталы, иммигрантские «гетто» на севере и северо-востоке Парижа.

рикмахерам не ходили и шмотки не покупали.

— Что ж, ты подтверждаешь мой диагноз. Фату порвала со своим прошлым, со своими корнями, и пустилась в свободное плавание. Она решила стереть из памяти свою историю, свое происхождение. А когда человек отрекается от своего прошлого, он тем самым лишает себя настоящего и, уж конечно, будущего.

И вот именно в этот момент мы увидели самое страшное: Мама, словно в подтверждение слов Сент-Эспри, смочила губку жавелевой водой и начала растирать ею руки и плечи. При этом ее лицо исказилось от боли, но она упрямо продолжала свое дело.

— О господи, да она же спалит себе кожу! — завопила мадам Симона.

Сент-Эспри кинулся к Фату и вырвал у нее из рук бутылку и губку. Мама растерянно посмотрела на свои пустые ладони, призадумалась и через несколько секунд попыталась начать все снова. Но он решительно удержал ее. Она сразу потеряла интерес ко всему окружающему, села на стул и замерла. Для нее ничто уже не существовало. Наши взгляды, наши разговоры — все это проходило мимо ее сознания.

— Ну вот, теперь она взялась за себя, значит

придется ее госпитализировать, другого выхода нет, — решила мадам Симона. — Сейчас позвоню в «скорую».

— Только не это! — воскликнул Сент-Эспри, не дав ей схватить телефонную трубку.

Вот тут я впервые почувствовал к нему симпатию.

— Но… как же быть? — робко спросила мадемуазель Тран.

— Фату нужно отвезти домой. Если ей и суждено возродиться к жизни, то лишь на земле, где она увидела свет.

— Что-то я не пойму, — вздохнула мадам Симона.

Сент-Эспри схватил Маму за плечо, стронул с места (она пошла за ним не глядя, послушно, как робот) и, обратившись ко мне, скомандовал:

— Собери ее вещи, Феликс, мы уезжаем. Твоей матери необходима Африка. Только Африка сможет ее вылечить.

* * *

С того момента, как мы вышли из самолета в Сенегале, я испытывал дискомфорт. Не тот банальный дискомфорт, который причиняют неудобные кровати, стулья, помещения, нет,

это был мой особый дискомфорт, ощущаемый и где-то внутри, и на коже — словом, захвативший все мое существо. Местные запахи, жара, краски, свет, звуки, расслабленность, ритмы, близость чужих тел — все казалось мне чужим, все отталкивало.

В поисках нашего отеля мы с Мамой и Сент-Эспри прошли по улицам Дакара, пробираясь в густой толпе между прохожими, товарами, разложенными прямо на тротуарах, велосипедами, не разбирающими дороги, оглушительно сигналившими машинами. Я чувствовал себя затравленным. Здешние люди двигались совсем не в парижском темпе, а либо гораздо медленнее, либо много быстрее, налетая друг на друга, сталкиваясь, соприкасаясь, и это никого не шокировало.

Но самое удивительное вот что: здесь я уже не был единственным чернокожим! В Париже я выделялся, привлекал внимание одной только своей внешностью; конечно, время от времени мне доставались из-за этого оскорбления какого-нибудь придурка-расиста, но на таких я плевать хотел, помня Мамины слова: «Если человек глуп, то это его и только его проблема, притом серьезная!»

Так вот, очутившись здесь, в толпе сплошных чернокожих, я сразу понизился в статусе, став теперь лишь одним из множества себе подобных, ничем не отличавшимся от других. Да и Мама тоже растворилась в этом окружении. Мимо меня проходили десятки, потом сотни, потом тысячи женщин, и у всех я обнаруживал тот же цвет кожи, те же черты, то же телосложение. Поначалу я принимал их за ее теток или кузин, однако вскоре их множество поставило меня перед жестокой реальностью: я стал свидетелем свержения Мамы. Ее величественная красота с каждой минутой тускнела все больше и больше. Черные в черной Африке, мы теряли свои привилегии; нет, подумал я, уж лучше быть черным в Париже.

Сент-Эспри, разрезавший толпу со своей обычной невозмутимостью, не испытывал таких мучений: здесь, как и везде, прохожие останавливались, чтобы полюбоваться им. Честно говоря, временами мне, обиженному тем, что я сливаюсь с общей массой, очень хотелось когда-нибудь стать на него похожим, как это сулила Мама.

В отеле он снял для нас с Мамой просторный номер, а сам занял соседнюю комнату, поменьше. Пока мы сидели, остывая от уличной жары,

мне захотелось разузнать о нем побольше и я спросил:

— Ты уже бывал в Африке?

— Нет, я, так же как и ты, здесь впервые. Ну-ка подойди, я тебя обрызгаю.

Сент-Эспри ненавидел комаров; он с самого Парижа заставлял нас принимать Nivaquine[11], чтобы защититься от малярии, и обрызгивал жидкостью, отгоняющей насекомых.

— В Сенегале главную опасность представляют не самые крупные животные — гиппопотамы и крокодилы, а самые мелкие — комары, — объяснял он, размазывая этот состав по рукам Мамы.

Но я не отставал:

— Так откуда же ты родом?

— С Антильских островов. С французских Антил. Я родился на острове цветов, слыхал о таком?

— Нет.

— Его еще называют Мартиникой.

— Значит, ты не африканец.

— Африка живет в моих генах, а не в воспоминаниях, в отличие от твоей матери. Мои предки покинули Африку еще в семнадцатом веке. Вер-

---

[11] Примечания: 11

Препарат на основе хинина, используемый в основном для лечения и профилактики малярии.

нее, наши с тобой предки, Феликс.

Когда он говорил «наши», мне всегда хотелось его одернуть: «Эй, ты не очень-то спеши приписать меня к своей родне! Я еще не знаю, соглашусь ли принять твоих предков».

— И чем же они занимались?

— Были рабами.

— Кем-кем?

— Рабами. Их отлавливали в Африке и переправляли через океан.

От этих его слов я буквально оцепенел. Мои предки — рабы?! Неужели я потомок рабов? Прапраправнук беспомощных жертв? Нет, даже слушать не желаю! От этого Сент-Эспри одни несчастья… И я ринулся в атаку:

— Значит, Мамины предки были похитрей твоих!

— Не понял?

— Их-то как раз не отловили, они остались в Африке свободными.

— Можно сказать и так, Феликс. Ты вполне прав.

Я чуть не лопнул со злости: как я ни старался подколоть этого человека, мне не удавалось вывести его из себя. Даже непонятно, сознавал ли он, что я нападаю на него все чаще и чаще… Сло-

вом, я решил закрыть дискуссию, вытащил свой телефон и сделал вид, будто читаю новые сообщения. Ну и вляпался же я! Вот так живешь целых двенадцать лет, тихо-спокойно, без всякого отца, и вдруг тебе на голову сваливается эдакий тип — красавец и ноль недостатков. Приуныв, я с завистью вспоминал, как мои школьные товарищи жаловались на своих «стариков»: одни ни хрена не соображали, другие ни черта не делали, или лупили детей, или сквернословили, или «ходили налево». Везет же людям… Да, не всем выпадает такая удача — заполучить папашу с изъяном!

Пока я дулся, Сент-Эспри пошел бродить по улицам Дакара вместе с Мамой; он приобщал ее к африканской атмосфере, надеясь, что новые впечатления пробудят в ней память и интерес к жизни. Мама покорно дала ему увести себя, но, когда она вернулась, я констатировал, что в ее взгляде так и не промелькнула хотя бы искорка сознания.

На следующий день мы отправились в путь. Куда, спросите вы? К реке Сенегал. Благодаря Бамбе Сент-Эспри разыскал на карте местность, где прошло Мамино детство.

Я не воспротивился этому путешествию. Может быть, в глубине души даже надеялся, что это

хоть какой-то шанс вырвать Маму из ее забытья. Увы, поездка эта была задумана, разработана, спланирована моим родителем. И я всей душой противился его решению: меня крайне возмущало, что Сент-Эспри изображает отца семейства после двенадцатилетнего отсутствия, — конечно, их разлука была инициативой моей матери, поступившей наперекор желанию своего возлюбленного, но у нее наверняка имелись на то серьезные причины, разве нет?

Мы ехали на север страны, в Сен-Луи — город, который разочаровал меня не так сильно, как Дакар; здешние дома, с побеленными известью стенами, оградами кованого железа и черепичными крышами, были куда пригляднее, чем здания в столице. Когда мы проезжали по улицам, Сент-Эспри, увидев мое довольное лицо, бросил с саркастической усмешкой:

— Белый город, построенный белыми людьми. Наследие колониализма.

Я никак не отреагировал, но про себя отметил: ага, значит, он издевается над моим простодушным восхищением. Неужели мой папаша все-таки способен на ехидство? Эта гипотеза меня слегка утешила…

После короткой сиесты, устроенной прямо в

джипе, мы свернули с асфальтового шоссе на грунтовую дорогу. И хотя неизвестность пугала меня, я радовался этой перемене, до того мне обрыдла нескончаемая монотонная езда по плоской, пустынной, унылой местности, размеченной одними только мангровыми деревьями; деревушки все были одна в одну — приземистые домики, грузовики, магазины, а дальше пыльные поля, баран, луга с рахитичными растениями, еще один баран, стены огромного богатого имения, недоступного чужим взглядам, снова пыльные поля и очередной баран, опять луга с рахитичными растениями и еще одно мангровое дерево, безликие, убогие селения… Никогда еще я не сознавал, до какой степени архитектура представляет собой, по сути, игру в кубики. Одни прямоугольные коробки из глины, из кирпичей, из досок… Ну и страна! Все, что не было делом рук человеческих, оказывалось плоским, а то, к чему прикоснулись люди, выглядело жалким и унылым. Отсюда я сделал вывод, что Африка исчерпала все свои возможности удивить меня.

Джип теперь продвигался судорожными толчками, подпрыгивая на камнях, проваливаясь в расщелины, и трясся так, что нас то и дело подбрасывало, как блины на сковородке. Из-за

этих толчков у меня всю задницу отбило. Мама, лежавшая на заднем сиденье, моталась взад-вперед, словно тюк белья, мертвенно-бледная, с закрытыми глазами.

— Кажется, уже близко, — заметил Сент-Эспри.

Дорога сужалась по мере продвижения вперед. Чем медленнее мы ехали, тем более жестокими становились толчки: в таком режиме — если джип вообще его выдержит — я рисковал лишиться ноги или руки.

Наконец я заметил деревянные строения с остроконечными соломенными крышами. Сент-Эспри затормозил вовремя: еще немного и наш вездеход, наверно, развалился бы на части. Вокруг нас собрались ребятишки, привлеченные видом машины. Следом за ними подошла женщина в красном с золотом бубу — эдакая черная Венера со скульптурными формами и плавной поступью, с корзиной белья на голове чуть ли не с нее ростом.

Сент-Эспри завел с женщиной разговор — если его можно так назвать, учитывая тот факт, что женщина изъяснялась на волоф[12]; я уж было

[12] Примечания: 12

Волоф (Wolof) — родной язык племени волоф, является разговорным языком Сенегала, Гамбии и Мавритании. В Сенегале на волоф говорят сорок процентов населения.

собрался поучаствовать в беседе, как вдруг Мама, лежавшая сзади, встрепенулась и села. Сейчас она явно сознавала, где находится, чувствовала это всей кожей. Ее ноздри раздулись, она сделала глубокий вдох, вздрогнула и с неожиданным интересом посмотрела вокруг. Потом вышла из машины и зашагала по дороге, оступаясь на каждом шагу.

Я застыл, глядя на нее. Сент-Эспри, со своей стороны, также искоса наблюдал за ней, не прерывая беседы.

На несколько мгновений к Маме вернулось зрение: она увидела впереди огромное дерево — акацию, с зеленым шатром тени у подножия, — подошла к нему, коснулась ствола и вдруг, словно ее ударило током, вздрогнула всем телом и рухнула наземь.

Я кинулся к ней, Сент-Эспри тоже. Мы усадили Маму, прислонив спиной к акации. Ее лицо стало мертвенно-бледным, дыхание прерывалось.

— Фату! Фату! Открой глаза! Фату!

В ужасе я завопил во весь голос:

— Мама!

Она приподняла веки, увидела меня перед собой и попыталась улыбнуться, потом ее взгляд снова помутился. Она застонала, ее тело сотря-

сала дрожь.

— Ей холодно?

— Нет, у нее лихорадка, — ответил Сент-Эспри.

— Почему?

— Я исключаю лихорадку Денге и желтую лихорадку — от них делают прививку во Франции. Малярия? Нет, я ведь напичкал ее хинином…

Он повернулся к черной красавице, подошедшей к дереву следом за нами, и что-то сказал. Та кивнула в ответ и удалилась.

А Маму по-прежнему била дрожь. На ее лбу, висках и плечах выступили крупные капли пота; тело сотрясалось так, будто там, внутри, работал шейкер.

Появились жители деревни во главе с женщиной в красно-золотом бубу. Они обступили нас со всех сторон, разглядывая Маму и бурно обсуждая ситуацию на своем языке, который я не понимал.

— Меня беспокоит ее состояние, Феликс. Я взял с собой только аспирин.

— Сейчас я за ним сбегаю.

Не успел я встать, чтобы кинуться к джипу, как деревенские жители почтительно расступились: к нам шел глубокий старик, сплошь обвешанный амулетами.

— Здравствуйте, я Папа Лум, знахарь и жрец, — объявил он на певучем французском.

Старец опустился на колени перед Мамой; от него исходила такая уверенная сила, что мы сразу успокоились.

Он казался мне даже не столетним, а тысячелетним. Его иссохшие, скрюченные, негнущиеся пальцы мяли Мамины щеки, а глаза, словно два узких отверстия, проделанных в сморщенной коже, пристально изучали ее лицо. Он заговорил с ней ласковым, чуть гнусавым голосом со звучными гласными и жесткими согласными: я не понимал его слов, но ощутил их воздействие, да и Мама, без сомнения, тоже: теперь ее трясло уже не так сильно.

Затем старик жестом потребовал воды. Ему поднесли калебас, он взял его и бережно прижал к Маминым губам. Рефлекторно — а может, и сознательно — она их приоткрыла, сделала глоток. А я внимательно разглядывал тело Знахаря. Его мускулы давно высохли, уподобившись веревкам, которые натягивали его бугорчатую кожу; они были особенно заметны в местах сочленений, на локтях и коленях, где переплетались с синими венами, которые опутывали его руки и ноги. Что касается ступней, то своей чешуйчатой,

растрескавшейся, мозолистой кожей они напоминали шкуру ящерицы.

Напоив Маму, Знахарь предложил перенести ее к нему в дом, чтобы он мог заняться ее исцелением.

Сент-Эспри согласился — он вел себя прямо как законный Мамин супруг! Несколько жителей перенесли ее в хижину под соломенной крышей и там уложили на тюфяк с подушками в самых что ни на есть разноцветных чехлах. Старик поблагодарил их и отпустил, оставив при себе только Сент-Эспри и меня.

— Познакомьтесь с моим другом Архимедом, — сказал он.

Мы стали оглядывать полутемное помещение, украшенное рогами антилоп и черепами бегемотов, ища глазами человека.

— Вот он, — уточнил колдун, ткнув пальцем вниз.

И мы увидели желтого пса с темными ласковыми глазами; он смотрел на нас, навострив уши и помахивая хвостом.

— Архимед — мой помощник.

Сент-Эспри был явно шокирован, но все же натянуто улыбнулся. А Знахарь указал на Маму:

— Кто эта женщина?

— Ее зовут Фату Н'Дьяйе.

Старик вздрогнул.

Сент-Эспри тут же отреагировал — его прямо распирало любопытство:

— Вы ее знаете?

Папа Лум сощурился и покачал головой, однако так уклончиво, будто давал понять, что лжет и что ему известно гораздо больше, чем кажется.

Сент-Эспри рассказал ему историю Маминой жизни в Париже; но едва он заговорил о цели нашего путешествия, как Папа Лум прервал его:

— Вы поступили правильно, твой сын и ты.

Он еще раз взглянул на Маму, на ее вялое тело, сотрясаемое конвульсиями, на посеревшее лицо, на губы, из которых временами вырывались жалобные стоны.

— Надеюсь, что еще не слишком поздно. — И он приложил ладонь к Маминому лбу: — Она вся горит. Боюсь, как бы…

— Как бы — что?

Старик призадумался, раскачиваясь взад-вперед, что-то посчитал на пальцах, растер свои иссохшие локти и вынес заключение:

— Через два дня наступит полнолуние. Если Фату проживет еще три дня, возможно, она исцелится.

Сент-Эспри вздрогнул:

— Постойте! Вы хотите сказать, что за эти три дня она может умереть?

— Да. Лихорадка…

— Тогда мы возвращаемся в Сен-Луи. В больнице ей дадут антибиотики, противовоспалительное, кортизон и…

— Делай как хочешь, но даже если в Сен-Луи справятся с ее лихорадкой, они вернут ее тебе такой же немой, отрешенной, с невидящим взглядом, как в последние недели. А вот если вы останетесь, она, может быть, полностью выздоровеет.

— Слишком рискованно.

— Я буду поить ее травяными отварами от лихорадки.

— А у вас есть диплом врача?

— Я исцеляю людей вот уже восемьдесят лет.

— И это вы считаете дипломом?

— Я сын целителя.

— Очень сожалею, но я не хочу рисковать.

— Это потому, что ты не понимаешь причины ее лихорадки. Ты считаешь ее болезнью, тогда как она есть лекарство от болезни. Таким способом твоя супруга избавляется от зла. Лихорадка сулит ей возвращение к здоровью. Она ее очищает. Твоя

супруга надеется на выздоровление, и ее надежда — залог успеха.

— Да это просто бред!

И разъяренный Сент-Эспри ринулся к ложу Мамы. Но Знахарь стоял на своем:

— Скажи мне, когда у нее началась эта лихорадка?

— Здесь, под деревом! — завопил я.

И, взглянув на Сент-Эспри, который пытался поставить Маму на ноги, крикнул:

— Мы остаемся!

Но Сент-Эспри меня как будто не слышал — подсунув руки под Мамины плечи, он продолжал ее поднимать.

— Мы остаемся! — повторил я.

Он снисходительно взглянул на меня и покачал головой:

— Сколько тебе лет, Феликс?

— Двенадцать лет, три месяца и четырнадцать дней. Достаточно? Или тебе еще часы сосчитать?

— Ты слишком молод, чтобы принимать такие решения.

— А у тебя вообще нет права что-то решать.

— Я твой отец.

— Ну так можешь использовать свою родительскую власть надо мной. Но не над ней. Ты ей

никто и звать никак!

И, обратившись к Знахарю, я злобно бросил:

— Когда я родился, она уехала от него вместе со мной. И скрыла от него наш адрес. Он был ей не нужен — ни как муж, ни как любовник. И у него нет никакого права решать за нее.

Старик задумчиво сморщил лоб:

— Я полагаю, Феликсу виднее, что нужно его матери, а что нет.

Сент-Эспри оставил в покое Маму, помедлил, не зная, что делать, потом, явно глубоко взволнованный, присел передо мной на корточки:

— Ты меня ненавидишь, Феликс?

— Слишком много чести!

У него даже навернулись слезы на глаза, так жестоко я его обидел. Ему было больно это услышать. Губы его дрожали, он был просто убит. До сих пор мне и в голову не приходило, как искренне он меня любит. Но сейчас я вдруг понял это — и почувствовал себя виноватым. Почти не сознавая, что делаю, я схватил его дрожащую руку и шепотом взмолился:

— Пожалуйста, Папа, прошу тебя, давай останемся!

Не знаю, что со мной стряслось, — до сих пор я ни разу не назвал его Папой…

Пораженный до глубины души, он посмотрел мне в глаза, вдруг крепко обнял и пробормотал:

— Ну конечно, Феликс. Это твоя Мама, тебе и решать. А я буду тебя слушаться.

И разрыдался у меня на груди, словно у него разом сдали нервы.

Еще несколько дней назад я бы торжествовал, видя, как побежденный Сент-Эспри проливает слезы; да-да, лишить его родительской власти было бы для меня величайшей радостью. И однако, в тот миг в убогой хижине знахаря я чувствовал себя таким же слабым, как он, неспособным принять решение, как он, готовым выплакать свое горе, как он, и это сознание, что я могу с кем-то разделить свои страхи, меня странным образом утешало. Поэтому, когда он захотел меня поцеловать (впервые!), я не воспротивился. Поцелуй вышел так себе — неловким, а главное, влажным, поскольку Сент-Эспри плакал, я тоже, и в соприкосновении наших мокрых щек не было ничего мужского, но я плевать хотел на то, что дал слабину: если уж мой отец — предмет восхищения толпы, идеальный мужчина, кумир женщин — разнюнился так же, как я, значит все правильно и никто мне не указ!

Итак, Папа Лум оставил Маму у себя, а нам

помог с жильем.

Сент-Эспри он поселил в соломенной хижине контрабандистов, чаще занятой ящиками с чаем или сахаром, чем самими мошенниками, доставлявшими эти товары на пирогах из Мавритании. Мой отец развлекался тем, что считал пауков в паутине и летучих мышей, висевших под крышей.

— Потрясающе! — восклицал он, натирая кожу лимонной водкой. — Вот они — природные борцы с этими мерзкими комарами, всегда на посту!

Что касается меня, то Папа Лум нашел мне приют у Юсуфа, который жил в двух комнатах со своими двумя женами и семнадцатью детьми. «Там, где хватает места для девятнадцати, найдется уголок и для двадцатого!» — со смехом заявила его старшая жена Даба.

Увидев мое испуганное лицо, Знахарь положил мне руку на плечо:

— Если ты боишься, что не заснешь, я тебе помогу.

Он порылся в своих многочисленных карманах и достал гладкий кусочек дерева.

— Это эбеновое дерево, чей запах помогает обрести здоровый сон. Положи его на левую ладонь, смочи тремя каплями воды и потри, затем три-

жды проведи пальцами по голове, а его спрячь под тюфяк.

Ну что вам сказать? Вечером, втиснувшись в уголок между старшим из детей, парнем лет пятнадцати, и дверным косяком, я проделал указанную процедуру. И что же вы думаете: то ли меня сморило от пережитых волнений, то ли эбен и впрямь подействовал, но я заснул как убитый.

Наутро Папа Лум собрал нас — отца и меня — в своей хижине. Он хмурился и выглядел озабоченным:

— Фату всю ночь металась в лихорадке. Именно так она продолжает бороться со своей напастью, и это битва не на жизнь, а на смерть. Мы должны отвезти ее к реке.

— К реке? Зачем?

— Река была ее подругой с самого детства.

С этими словами старик протянул нам пластиковый баллон:

— Вылейте сюда воду из тех трех чаш.

И он указал на три большие чаши с чистой водой, стоявшие перед его хижиной.

— Это лунная вода.

Я внимательно обследовал воду, но не нашел в ней ничего особенного. А Папа Лум пояснил:

— За прошедшую ночь эта вода напиталась Лу-

ной. Целых десять часов Луна отражалась в ней, передавая свою силу. Лунная вода исцеляет женщин, тогда как солнечная вода лечит мужчин.

Он добавил к нашей поклаже одеяла, маленькую жаровню, пакет риса и сеточку с арахисом.

— Ох, чуть не забыл «велосипедиста»!

И он запихал в свою холщовую торбу худосочного голенастого цыпленка, уже ощипанного. Снаружи нас поджидала четверка тощих, но жилистых обитателей деревни; они сердечно приветствовали нас и уложили бледную, стонущую Маму на импровизированные носилки.

— Вперед, Архимед!

И наш отряд под предводительством желтого пса направился к реке.

Никогда я не видел Маму в таком ужасном состоянии… Еще недавно она жила хотя бы на автопилоте, но теперь и этого не было: она уже не могла ни стоять, ни сидеть, ни ходить, ни есть. Ее покинули последние силы. Таинственная немочь, изничтожившая ее разум, теперь разрушала тело.

В деревне, где мы жили, вся растительность, если не считать гигантской акации, сводилась к низкой колючей поросли, но по мере того, как мы продвигались вперед, саванна меняла свой

облик — теперь вокруг было все больше пышных кустов. А через несколько часов перед нами уже высились могучие деревья — бавольники, пальмы, манго, баобабы. В других обстоятельствах я полюбовался бы разбросанными там и сям гигантскими термитниками, но сейчас, когда меня терзало горе, я смотрел на них как на кучи отбросов или на глиняные потроха — словом, как на больные, изувеченные тела, такие как Мамино.

Реку Сенегал мы заприметили еще раньше, когда ехали в машине: чаще всего она напоминала широкую автостраду, но кое-где распадалась на множество рукавов. Именно в такой речной лабиринт нас и привел Папа Лум, а вернее, Архимед, с его бодрым нравом, худыми ногами, чутким черным носом и повадками вожака стаи. Мы пересекли нечто вроде зеленой галереи, где древесные ветви смыкались над речными притоками; в просветах листвы, куда проникало солнце, кишели несметные тучи насекомых. Услышав наши шаги, в заросли метнулся бородавочник[13].

По приказу Папы Лума носильщики положили Маму у самой воды, так чтобы река увлажняла ее

---

[13] Примечания: 13
Бородавочник — дикий африканский кабан.

ступни. Мама открыла глаза и перестала стучать зубами.

Четверо мужчин, сердечно распрощавшись с нами, ушли.

Сент-Эспри с тревогой следил за эскадрильями летучих хищников, вслушиваясь в их жужжание и зудение, однако не утрачивал своего обычного стоицизма и внешне держался невозмутимо. Я брал с него пример, чтобы не сбежать: стоило мне увидеть трех скорпионов в расщелине скалы, как я осознал, сколько тысяч, если не миллионов враждебных существ подстерегают нас в этом месте, с виду необитаемом.

Знахарь разложил камни вокруг Мамы, произнося волшебные заклинания. Сент-Эспри объяснил мне, что он ее благословляет. Старик повторил их десять раз, двадцать, тридцать… Эта однозвучная литания утомляла меня или, вернее, погружала в состояние гипнотического забытья, граничащего с отторжением. Интересно, какое из них мне ближе? Отторжение — поскольку этот нескончаемый повтор одних и тех же звуков действовал мне на нервы? Или же гипнотическое забытье — настолько монотонное пение Знахаря убаюкивало меня?

А Мама, словно вдруг почувствовав себя в без-

опасности, перевернулась на спину, раскинула руки и улыбнулась, глядя на зеленый покров ветвей. Церемония закончилась.

— Какая-то часть ее существа выражает счастье оказаться здесь, — прошептал нам Знахарь.

Увы, эта часть оказалась недолговечной. Минут двадцать спустя Мама снова задрожала и начала стонать.

Знахарь оттащил ее от воды и закутал в одеяла.

— Она еще далеко, очень далеко, — со вздохом сказал он.

Уже смеркалось, и в зеленых зарослях зазвучали причудливые крики животных. Комары, почуяв, что их время кончается, напоследок беспощадно атаковали нас, особенно ополчившись на Сент-Эспри, который отстреливался от них своим фумигатором. А я, укрывшись в кустах, пережидал военные действия, уповая на сумерки.

К ночи неожиданно похолодало. Знахарь развел костер на песочном пятачке, и мы расселись вокруг него, чтобы согреться, а заодно не думать о зловещей лесной тьме. Архимед то и дело приносил нам сухие ветки, и мы подбрасывали их в огонь.

— Вот почему вы зовете его своим ассистен-

том, — пошутил Сент-Эспри, желая польстить старику.

— Сегодня ночью Архимед еще не раз поможет нам и в другом. Он хорошо видит в темноте.

— И конечно, защитит нас от диких зверей, — иронически буркнул мой родитель, покачав головой, — от гиен, шакалов, бородавочников…

— О, это пустяки… Звери опасны лишь тогда, когда ты их не понимаешь.

— Ну все-таки… Мне рассказывали, как гиены нападали на пастухов и пожирали их!

— Да, конечно… — согласился Знахарь, пренебрежительно кривя губы, словно услышал незатейливую детскую сказочку. — Но если бы только это…

— Что вы имеете в виду?

На сей раз Сент-Эспри вышел из себя: он даже повысил голос. Папа Лум нагнулся к нам и зловеще прошептал:

— Архимед видит потусторонний мрак, понимаете? Собаки лаобе[14] предупреждают нас об опасности куда более грозной, чем дикие звери: они чуют злых духов, которые просыпаются по ночам.

---

[14] Примечания: 14

Лаобе — местная сенегальская порода собак.

— Что?! — воскликнул я.

Для паники мне вполне хватало скорпионов, гиен, шакалов и бородавочников. А тут еще вдобавок и духи! Мало того, духи-садисты, злобные убийцы!

— Вы испугали Феликса, — проворчал мой отец.

Предатель! Да он сам напустил в штаны со страха, как и я, только для виду хорохорится, притворщик, трус несчастный!

Знахарь сурово нахмурился:

— Очень надеюсь, что Феликс перепуган, не боятся одни только дураки!

Шикарный ответ, спасибо тебе, Папа Лум! А старик продолжал:

— Космос не знает покоя: в нем извечно противоборствуют разные силы, и равновесие долго не длится. Вокруг нас незримо витают некие сущности — людские души, души зверей и деревьев, дух реки, дух саванны, дух ветра, и разгневать кого-нибудь из них очень опасно. Если бы нам было дано увидеть все эти таинственные силы, мы бы не посмели и носа высунуть из дому.

Внезапно пес завыл, словно по покойнику. Папа Лум указал на него:

— Вот Архимед их видит. Это ужасное свойство,

не хотелось бы мне обладать им.

Я вздрогнул. А собачий вой все не умолкал — хриплый, тоскливый, замогильный, временами прерываемый жалобным повизгиванием. Папа Лум сжал мое плечо, пытаясь передать мне этим жестом свое спокойствие.

— Архимед будет нас охранять и помешает духам приблизиться. Давайте отдыхать. Ложись, Феликс, и воспользуйся моим амулетом.

Кусочек эбенового дерева, который я хранил при себе, скоро оказал свое действие. Однако его силы было недостаточно, чтобы спокойно спать, когда Мама кричала. Потому что теперь она кричала, кричала каждые пару часов, кричала из последних сил. Ее жалкое состояние просто убивало меня. После десяти минут этих надрывных криков она засыпала. А мне на это требовалось гораздо больше времени…

На рассвете, взглянув на измученное лицо Сент-Эспри, я понял, что он ни на миг не сомкнул глаз. Впервые ему изменила его невыносимая красота. Искаженные черты, воспаленные веки, нервный тик — видно было, что его всю ночь терзал страх.

Наступивший день и предстоящая ночь должны были стать решающими: Мама либо выздоро-

веет, либо умрет. Знахарь не отходил от нее ни на шаг. Он обложил ее тело оберегами, надел на шею ожерелья из амулетов, то и дело щекотал ее пучком перьев, что-то нашептывал на ухо. А к ноге Мамы он прислонил какую-то статуэтку. Я взял ее в руки:

— Что это?

— Тотем вашего клана.

— Моего клана?

— Клана, к которому принадлежат все Н'Дьяйе.

— Так вы нас знаете?

Он только пожал плечами. Я повертел тотем в руках и обнаружил, что он представляет собой вырезанную из дерева львиную голову на крошечном теле.

— Тотем твоей матери послужит ей связующим звеном — с природой, с предками. Она страдает оттого, что была разлучена с ними. Что она ела в последнее время?

— Семечки… Фрукты и семечки.

— Но не мясо?

— Нет, с тех пор как она заболела.

— Так я и думал! Когда твой тотем — лев, нельзя быть травоядным, нужно питаться мясом, как львы. Фату оборвала связь со своей природой,

вот почему она теперь нигде больше не живет — разум ее блуждает, мечется, не зная покоя, не имея пристанища, бесприютный и потерянный, подобный цветку, который возомнил себя мотыльком. Она погибнет, если…

— Если что?

— Если не вернется к…

— Не вернется к чему?

Но старик упорно молчал. Он никогда не повторял сказанного, просто обрывал разговор и погружался в свои мысли. Я подошел к Сент-Эспри, тот сидел, скрестив ноги, под тамариндовым деревом, с Библией на коленях, перебирал четки и бормотал молитвы. Я сел рядом с ним, в полном изумлении:

— Ты что — христианин?

— Да. И очень набожный. А ты?

Его вопрос привел меня в растерянность. Я поразмыслил, перебрал несколько вариантов, поколебался, отверг их все и ограничился коротким:

— Не знаю…

— А к кому же ты обращаешься, когда тебе страшно или что-нибудь непонятно?

— К Маме.

И верно: моим единственным прибежищем

была Мама. И моей единственной любовью и образцом любви тоже была Мама. Значит, моей религией была опять-таки Мама.

Сент-Эспри со слезами на глазах нежно погладил меня по голове.

А она скрипела зубами. Приступы лихорадки учащались и с каждым разом становились все ужаснее. Мама превратилась в дрожащий, стонущий комок плоти, мокрой от испарины.

И Сент-Эспри уже начал терять надежду.

— Мы поступили неправильно, Феликс: нужно было отвезти ее в больницу. А здесь… здесь…

Он говорил бессвязно, не заканчивая фраз, и это еще больше пугало меня.

Тем временем Знахарь продолжал разговаривать с Мамой, произносил над ней заклинания, заставлял касаться тотема. К вечеру он попросил нас заняться хозяйством — развести огонь и приготовить ужин; сам он не хотел ни на миг оставлять Маму.

Мы оба, отец и я, уже не скрывали наших чувств; их невозможно было выразить вслух, но покрасневшие от огня лица и понурые позы выдавали наше отчаяние и страх. Теперь мы молчали. Все слова надежды уже были сказаны за последние сутки, и события их опровергли. Что

же касается печальных предсказаний, суеверие заставляло нас держать их при себе: если кто-то из нас, отец или я, скажет, что Мама обречена, не ускорит ли это ее кончину? Поэтому мы молчали, но каким же гнетущим и безысходным было это безмолвие! Мы уже ни на что не надеялись.

— На эту ночь я сменю Папу Лума и сам подежурю около Фату. А тебя, Феликс, умоляю поспать.

Я запротестовал — как можно оставить Маму без моего присмотра, я тоже хотел быть рядом с ней! — однако пережитые волнения сделали свое дело: я мгновенно провалился в сон. Причем в еще более глубокий, чем накануне: я словно оказался в каком-то надежном убежище, запертом на все замки, напрочь изолированным от внешнего мира, куда не доходил ни один звук извне.

На рассвете я вскочил как ужаленный:

— Мама?

На берегу реки я увидел две спины — Знахаря и отца. Но не Маму.

— Мама-а-а! — завопил я.

Мужчины обернулись ко мне. Я подбежал. Мама лежала у них на коленях, без сознания. А их измученные лица уже ничего не выражали.

Я нагнулся к ней:

— Мама! Это я, Феликс!

Вдруг она открыла глаза, и ее губы тронула слабая, еле заметная улыбка. Потом она повернула голову к речным волнам и улыбнулась чуть шире.

— Yaye[15].

Этот звук слетел с ее губ. И она повторила его — удивленно, с каким-то робким облегчением, не отводя глаз от реки:

— Yaye…

Я поднял голову и встретился взглядом со Знахарем, дрожавшим от волнения. Он приложил палец к моим губам, чтобы я не мешал Маме. И она негромко воскликнула, переведя взгляд в другую сторону:

— Baye![16]

Ее лицо радостно вспыхнуло, теперь она выглядела счастливой.

Знахарь заговорил с ней на волоф. И — о чудо! — она ответила. И они защебетали, как две сороки. Мама — хотя еще очень слабая — больше не дрожала, с ее лица сошла бледность, а изо рта лился неиссякаемый поток слов, как будто ей не терпелось поскорей компенсировать долгие

---

[15] Примечания: 15
Мама (на языке волоф).

[16] Примечания: 16
Папа (на языке волоф).

недели молчания. Ее лицо сияло, она выглядела безгранично счастливой.

Мы — Сент-Эспри и я — сидели, потрясенные до глубины души, не смея им мешать, и только восторженно переглядывались. Для полноты счастья не хватало лишь одного: чтобы Мама вспомнила французский язык. Прошло несколько минут, показавшихся мне вечностью, и Мама, внезапно сделав паузу, посмотрела на меня:

— А ну-ка иди сюда, поцелуй меня!

Пока Мама уплетала тощего цыпленка, которого Сент-Эспри зажарил на костре, Архимед то и дело блаженно потягивался на солнышке, прижмурившись, вытянув передние лапы и выпятив зад.

— Что это он делает? — спросил я у его хозяина.

— Занимается йогой.

— Значит, он не только медиум, он еще и йог?

— Вот именно.

И Папа Лум, перебирая свои амулеты, тихонько добавил:

— Нынче утром Фату видела, как ее мать и отец вынырнули из реки, а потом поплыли по водам.

— Что-что?

— Их держал в плену некий дух. После их смер-

ти он упрятал обоих в тину.

— Ее отец и мать плыли по реке? Но я никого не заметил.

— Оно и понятно: тебе не положено их видеть, это дано только ей. В любом случае ты на это пока неспособен, Феликс.

— Почему же?

— Потому что ты еще никогда не соприкасался с Незримым, ведь так?

Я признал, что он прав. Старик продолжал:

— Родители Фату, наконец-то освобожденные, все простили ей.

— Чего-о-о?! Неужели Мама сделала что-то плохое?

— В их глазах — да. И поскольку они сильно разгневались, то и наслали на нее эту болезнь.

— Я что-то ничего не понимаю…

— Одна только Фату может рассказать тебе о резне.

— О какой резне?

И я повернулся к Маме. Она уже наелась и теперь смотрела на Сент-Эспри, а тот ей улыбался. С момента своего исцеления она еще не сказала ему ни слова. Я шепнул Папе Луму:

— Почему она с ним не разговаривает?

— Полагаю, что сердится.

— На него?

— Нет, на саму себя.

По окончании завтрака Мама встала, потянулась, взяла меня за руку и объявила:

— Идем, я тебе все покажу.

Знахарь хитро сощурился и одобрительно кивнул ей. Потом указал на Сент-Эспри с немым вопросом: «А с ним как ты намерена поступить?»

Мама сразу напряглась, помрачнела и так вытаращила глаза, что я испугался, как бы они не выскочили из орбит; мне прямо слышно было, как у нее в голове бушуют и сталкиваются самые противоречивые мысли. Папа Лум прошептал:

— Рыба тоже плачет, но никто не видит ее слез.

Тут Мама слегка остыла, успокоилась, к ней вернулось ее прежнее величавое достоинство, и она как ни в чем не бывало бросила Сент-Эспри:

— Ладно, идем.

И он послушно зашагал следом.

Покинув тенистый лесной островок, мы вышли на безжалостное солнце, которое буквально испепеляло окружающий пейзаж. Теперь перед нами расстилалась бескрайняя саванна, поросшая больше кустарником, чем травой, испещренная

множеством раскаленных дорог, — выбирай любую.

— Gouye![17] Вот он!

И Мама указала на гигантский баобаб — массивный, пузатый, одинаковый что в ширину, что в высоту; казалось, этот колосс водружен здесь, в центре рыжей равнины, многие тысячелетия назад какими-то древними титанами. Его необъятное подножие состояло из нескольких мощных, переплетенных между собой стволов, а те переходили в крону из толстых кривых ветвей без листвы, которые жадно тянулись к небу, как будто дерево было перевернуто и всасывало его лазурь своими корнями.

Издали его серебристая кора поблескивала, словно была ребристой, но вблизи, когда мы подошли вплотную, она оказалась идеально гладкой. Коснувшись ее, я почувствовал, какая она мягкая и нежная: на ней остался след от ногтя, которым я провел по стволу. Мама раскинула руки и припала к баобабу, восхваляя его, втягивая ноздрями его запах.

— В Сенегале баобаб называют деревом жизни, — сказала она, — он дает людям все, что им

---

[17] Примечания: 17
Баобаб (на языке волоф).

нужно, от корней до цветов, не считая семян. А для меня он значит еще больше, ведь он спас мне жизнь.

Мама велела нам сесть под деревом, а сама осталась стоять и рассказала о себе.

Ей было пятнадцать лет, и она жила в деревне неподалеку от этого баобаба. Половина ее предков родились в Мавритании, вторая половина в Сенегале, но это смешение насчитывало столько веков, что никто — ни родители, ни деды с бабками, ни дядья с тетками, ни кузены с кузинами — уже точно не помнил, к какой ветви он принадлежит. Их это мало волновало. У них было две родины — Сенегал и Мавритания, но одна страна, страна Реки. И хотя ее широкий поток разделял два берега, подчиненные разным правительствам, эта водная граница казалась чистой условностью многим поколениям мужчин и женщин, которые жили у реки, купались в ней, переплывали ее. Ну что это за граница, которую можно пересечь, держась за плывущий ствол?!

Фату, младший ребенок в дружной, любящей семье, росла под родительским крылышком вместе со своими четырьмя братьями и тремя сестрами. Ее отец, мавританец по происхождению, торговал с сенегальцами. Мать, родом из

сенегальской крестьянской семьи, выращивала салат и овощи на огороде, где почва была плодородной благодаря близости реки. Фату, младшая из детей, была любимицей братьев и сестер. Она обожала читать книжки, и отец всегда привозил их дочери из своих многочисленных поездок, поощряя ее страсть к чтению. Фату любила уединяться с книгой, и у нее появилась привычка влезать на этот баобаб: там, метрах в пяти от земли, в стволе было естественное углубление, нечто вроде уютной колыбели. В нем-то она и устраивалась, оставаясь невидимой для всех, и проводила все дни напролет в компании Агаты Кристи, Гастона Леру, Мориса Леблана, Жюля Верна, Анри Труайя и Александра Дюма.

Но в апреле 1989 года на берегах реки разразился межнациональный конфликт. Началось с банальных разногласий между оседлыми жителями и теми, что разъезжали с места на место, между крестьянами и коммерсантами; такие распри происходили ежегодно, и к ним давно привыкли. Однако на сей раз вражда углубилась, приняла зловещий характер. Каждая из двух стран нашла причины усугубить ситуацию: некоторые мавры в Мавритании пожелали избавиться от черных племен сенегальского

происхождения, а политики Сенегала, неспособные справиться с экономическим кризисом после двадцатилетней засухи, внесли свою лепту в разжигание розни, чтобы отвлечь внимание граждан от насущных проблем и сплотить нацию для борьбы с внешним врагом.

И началась бойня — слепая, яростная, беспощадная бойня, чей размах только порождал все новые и новые злодеяния. По обе стороны реки «местные» нападали на «чужаков», убивая направо и налево вопреки всякой логике и справедливости.

Однажды утром отряд милиции, состоявший из разъяренных вояк, ворвался в деревню, где жила семья Фату, готовясь убивать всех, кто, по их мнению, был «с другого берега».

В тот день Фату как раз устроилась в «колыбельке» своего баобаба, чтобы почитать.

— Вначале я даже не поняла, что происходит там, вдали. Потом услышала выстрелы, увидела дым, поднимавшийся к небу, и догадалась. Смутно догадалась. На самом деле я чувствовала себя какой-то одурманенной, парализованной. Боялась осознать, что там, в деревне, происходит что-то ужасное, что там убивают мою мать, моего отца, моих братьев и сестер. Мне было

страшно, и в то же время я отбрасывала дурное предчувствие — слишком уж оно было жутким! Нет, это невозможно… Кто осмелится на такое смертоубийство?! Чтение книг подогрело мою фантазию, и я решила, что все это: взрывы, вопли, пламя — плод моего воображения. До самого вечера я в каком-то оцепенении просидела на дереве и только ночью осмелилась вернуться домой. Там, на краю деревни, я поняла, что все случившееся мне не привиделось: вокруг было только пожарище… пепел… и трупы… В тот миг, когда я, обезумев от ужаса, с колотящимся сердцем, шагнула в сторону нашего дома, вернее, обугленной груды обломков на его месте, ко мне метнулся какой-то человек. «Фату, — прошептал он, — не ходи туда; нельзя, чтобы они тебя схватили!» И, не дав мне ответить, прикрыл мой рот ладонью, поднял на руки, унес к себе домой и спрятал. Я даже не сразу поняла, чего избежала. Если бы не он, милиционеры, занятые мародерством, наверняка прикончили бы меня, так как они прекрасно знали состав каждой семьи. Они ведь были родом из нашей деревни: жили здесь, болтали с моими родителями, ели и пили вместе с ними, танцевали вместе с ними на наших главных праздниках. С ними — и с моими братьями

и сестрами.

И Мама обратилась ко мне:

— Человека, который меня спас, звали Бамба.

— Бамба?!

— Да, меня спасли двое — мое дерево и Бамба. Вот почему я всегда считала его своим братом.

И вот тут, несмотря на все ужасы, о которых рассказала Мама, я наконец вздохнул с облегчением: Бамба оказался отважным и добрым человеком, которому я был обязан жизнью Мамы. Значит, не зря я его любил, а теперь полюбил еще больше. И правильно сделал, что не разоблачил ни перед кем его плутни…

— Бамба пошел на страшный риск, укрыв меня в своем доме. Обстановка была такая накаленная, что, если бы милиционеры узнали об этом, они бы тут же казнили его за «предательство». Этот человек вел себя как герой, даже не осознавая этого: много дней он ходил по краю пропасти, скрывал все от своей родни, утешал и поддерживал меня, обнимая, заглушая мои рыдания, осушая мои слезы краешком своего бубу. И однажды ночью, когда резня слегка поутихла, мы с ним бежали. Целую неделю мы шли пешком до Дакара, и там Бамба нашел приют для нас обоих у своего родственника. Я уже немного пришла в

себя. Как только представился удобный случай, он посадил меня в самолет, летевший в Париж, где работал его кузен.

Мама помассировала лодыжки и через силу улыбнулась нам — Сент-Эспри и мне.

— Ну а продолжение моей жизни вам известно, поскольку вы стали ее частью.

Мы долго молчали. И тут Мама прибавила:

— Ах да… забыла сказать. Бамба ведь дал мне денег, чтобы устроиться в Париже. Он меня уверял, что это сбережения моих родителей: мол, ему удалось разыскать их в развалинах нашего сгоревшего дома. Дорогой Бамба… я до сих пор не знаю, правда это или нет…

В последующие дни Папа Лум занимался тем, что укреплял Мамино здоровье, — он настоял на том, чтобы мы еще немного пожили у реки.

Они с Мамой сидели на берегу, у самой воды, беседовали или же просто молчали, но их молчание было полно невысказанных мыслей.

А я рассматривал пирóги с острыми носами, похожими на рыбьи, любовался жеманной поступью серых цапель, восхищенно следил за полетом розовых фламинго. Что касается Сент-Эспри, то он либо сидел под деревом, листая свою Библию, либо осваивал волоф, болтая с

прохожими, рыбаками, пастухами, странниками, торговцами и контрабандистами. Если послушать его вечерние рассказы об этих встречах, то создавалось впечатление, что здешний берег, с виду необитаемый, позволял общаться с таким же множеством людей, как какой-нибудь парижский бульвар по субботам.

Знахарь периодически вручал Маме тотем, приказывая ей поклоняться ему.

Однажды я подслушал их разговор на эту тему:

— Прими свой тотем и попроси его принять тебя. Это лев. От него ты унаследовала гордый, независимый нрав и любовь к мясу, но тебе пока еще не передалось его чувство ответственности за свою семью. Чтобы считаться «королем» территории, лев защищает ее от других хищников и оберегает свою семью. Иными словами, исполняет свой долг. А ты забыла о своем «королевстве», о своем долге, о своих предках.

Мама пристыженно всхлипнула. Но Папа Лум безжалостно продолжал:

— Мало того, ты забыла о своей нынешней семье. Во-первых, о своем сыне…

— О мой дорогой Феликс… — прошептала Мама со слезами в голосе.

— Затем о своем муже.

Тут Мама напряглась и перестала причитать. Однако Папа Лум, ничуть не удивленный этой неожиданной сдержанностью, настойчиво повторил:

— Ну что же ты — давай поважничай, изобрази равнодушие.

— Я свободна!

— Если ты свободна, то должна ясно сознавать, почему поступаешь так, а не иначе. А ты не можешь это объяснить.

— То есть?..

— Ты отказываешься соединиться с мужчиной. Почему?

— Моя свобода…

— Свобода — это не цель, но средство, помогающее быть самим собой. Почему же ты не хочешь вступить в брак?

— Я…

— Когда-то ты спаслась от резни благодаря своей независимости. Если бы ты не пряталась в листве баобаба, чтобы читать, тебя истребили бы вместе со всей твоей семьей. И вот поэтому ты себя убедила, что, оставаясь одинокой, ни с кем не связывая свою судьбу, ставя себя превыше всех и всего, ты избежишь опасностей.

— Может быть… — признала Мама дрогнув-

шим голосом.

— Может быть, но не наверняка. Фату, ты выбрала хорошего производителя, чтобы родить сына, хвалю! Но теперь ты недооцениваешь свой выбор, и напрасно: этот мужчина способен стать хорошим мужем и хорошим отцом.

— Вот как?! — вскипела Мама и вскочила на ноги, готовая прервать этот разговор.

Но знахарь только улыбнулся:

— Когда ты утратила разум, он заботился о Феликсе так же хорошо, как ты. Да-да, заботился — о своем сыне и о своей возлюбленной. Не будь этого путешествия, которое он организовал, ты покинула бы этот мир и сейчас блуждала бы в дебрях безумия. А безутешный Феликс оплакивал бы тебя.

Мама виновато понурилась. Ее волосы — жесткие, растрепанные — походили на львиную гриву.

— Гордячка! Настоящая львица! — со смехом воскликнул Папа Лум.

И вложил в руки Мамы фетиш.

— Чтобы вернуться к полноценной жизни, пользуйся своим тотемом. Растения, животные и люди постоянно обмениваются жизненной энергией. Приобщившись к ней через тотем, ты

восстановишь разорванную цепь этого обмена и обретешь силы.

В последний вечер в присутствии нас с Сент-Эспри он вручил Маме коробку:

— Здесь находится прах твоих родителей. Ты должна развеять его над рекой, произнося священные заклинания.

Мама благоговейно взяла ее, прижала к груди и спустилась к реке, одна.

Там она простояла несколько минут не двигаясь. На фоне волн, порозовевших в лучах заходящего солнца, ее силуэт вдруг стал казаться хрупким, как у юной девушки. Ей снова было пятнадцать лет. Она только что потеряла своих родных. И сейчас делала то, что осиротевшая девочка не смогла сделать тогда, много лет назад, когда Бамба прятал ее от убийц. Я услышал ее голос — чистый, печальный, слабый, отражавшийся эхом от мирных вод. Она пела колыбельную, чья мелодия убаюкивала, помогала найти путь в темных безднах смерти. И я был уверен, что ее отец и мать, братья и сестры, в прибрежных тростниках или где-то очень далеко, слышат ее так же хорошо, как я. Песня, вначале звучавшая робко, постепенно набирала силу, в ней зазвучали уверенность, любовь и нежность.

Теперь, когда она подходила к концу, дрожащая девушка-сирота уступила место взрослой женщине, ставшей матерью своих родных.

Долго еще держала она коробку, прижимая ее к груди и не решаясь расстаться с тем, что осталось от родителей; потом наконец подняла крышку, и серые частички праха поплыли по воде, колыхавшейся под легким ветерком.

Я нагнулся к Знахарю и шепнул:

— Это и вправду их прах?

— Не знаю, Феликс. Может, да… А может, и нет… Главное — сам ритуал: нужно, чтобы твоя мать смирилась с уходом своих родных в царство мертвых. Чтобы она вернула их назад, к природе. Чтобы позволила им продолжать свой путь и общаться с душами других умерших. И чтобы унести в глубине своего сердца память о них, нежную и умиротворенную. Отныне ваши предки будут жить с вами, в Париже. И время от времени вы должны рассыпать в кухне на полу песок, чтобы они почувствовали себя на родине. Ритуалы помогают духу обрести плоть.

— Ну ладно, согласен. Надеюсь, вы хотя бы вручили ей их настоящий прах?

Знахарь возмутился:

— Ну что за глупости, Феликс! Вещи обладают

теми свойствами, какие ты им сам приписываешь. Например, кусочек эбенового дерева, который я тебе дал и который помог тебе крепко спать…

— Что-о-о? Значит, ты меня обманул по методу Куэ?[18]

— По методу… чего?

— Не чего, а кого — Куэ. Метод Куэ состоит в том, что больной излечивается самовнушением.

— Нет. Это твоя вера пробуждает и высвобождает свойства вещей. Она помогает тебе возвыситься над обычным уровнем бытия. Ты глубже проникаешь в суть явлений. Ты поднимаешься вверх по течению Незримого источника.

Старик бросил наземь свою торбу, и из нее высыпалось в колючую траву множество разных предметов — из дерева, из слоновой кости, из рога. Он выругался:

— Ох, как мне надоели эти игрушки! «Скажи мне: да!», «Обними меня!», «Вернись ко мне!»… Это всего лишь вспомогательные средства, чтобы сконцентрировать внимание пациентов, трамплины, помогающие попасть в другое измерение.

---

[18] Примечания: 18

Куэ Эмиль (1857–1926) — французский психолог и фармацевт, автор методики психотерапии и личностного роста, основанной на самовнушении, очень популярной в начале XX века.

Я предпочел бы обходиться без них. Чем больше вспомогательных средств, тем меньше ты обращаешься к разуму. А ведь разум можно излечить только разумом.

И он указал мне на закатное солнце:

— Взгляни по ту сторону Зримого. Смотри на Незримое. Ищи дух, который являет то, что скрыто за видимостью. И ты проникнешься силой мира, которая лежит в основе всего сущего. Незримый источник вечен, он есть повсюду, где бы ты ни находился, и ты можешь его увидеть. Ибо тот, кто смотрит зорко, в конце концов увидит.

Он положил мне на плечо скрюченные пальцы, похожие на паучьи лапки, и сказал:

— Вы вернетесь в Париж, и это меня тревожит. Нельзя, чтобы Фату снова впала в безумие. Я долго размышлял и хочу поручить тебе важную миссию.

С этими словами он опустился передо мной на колени и поведал мне тайну.

Эпилог

— А сколько ей лет, мадам Симоне?

— Да не так уж и много, — отрезала Мама.

С высоты этих «не так уж и много» лет мадам Симона обводила благосклонным взглядом своих бывших коллег, которым Мама в данный момент наливала шампанское. Теперь, когда конкуренции пришел конец, мадам Симона относилась с большой симпатией к бразильянкам, работавшим по ночам в Булонском лесу, и считала Иоланду, Флавию, Изадору и Беатрису своими подружками. Как только трансвеститки переступали порог кафе, оно уподоблялось вольеру с амазонской пернатой живностью — пестрыми колибри, и цаплями, и орущими попугаями, которые устраивали тут настоящий кавардак — хохотали, галдели, шутили, визжали. Во время нашей сенегальской экспедиции мадам Симона сохранила, а потом и приумножила клиентуру кафе. И к всеобщему изумлению, обходилась со всеми любезно, гостеприимно, с улыбкой — это она-то, которая прежде смотрела на окружающих, как злобный бульдог!

Мама наняла ее к себе в помощницы. Стоило

посмотреть, как дружно они бросались обслуживать любого клиента: одна доставала рюмку, другая наливала в нее, одна начинала фразу, другая ее заканчивала, — словом, действовали так проворно и слаженно, будто работали вместе долгие годы.

Я пробрался к Маме и настойчиво шепнул ей на ухо:

— Ты сегодня наведаешься со мной в Африку?

— Да-да, уже скоро, милый Феликс, вот только обслужу клиентов.

— Обещаешь?

— Ну разве был хоть один вечер, когда я не брала тебя в Африку?!

В ответ я только молча кивнул: она не должна была знать о том, что я обещал старому знахарю. Даже если к Маме вернулись жизненные силы, даже если она вела себя как совершенно здоровый человек, я не забывал, насколько хрупко ее душевное равновесие.

В кафе вошел Сент-Эспри — безупречный, в кремовом костюме. Трансвеститки встрепенулись, кто-то из них даже восторженно присвистнул.

— Que gato![19]

---

[19] Примечания: 19
Ай да котик! (*исп.*)

— Minha Santa Maria de Jesus, me dê força![20]

— А ну цыц, девочки! — рявкнула мадам Симона. — Это собственность Фату.

Мама возмущенно вскинулась как ошпаренная:

— И вовсе нет! Я тут ни при чем!

Улыбка Сент-Эспри погасла, глаза померкли.

— Значит, уступишь его нам, oi linda?[21] — воскликнула Изадора.

Мама обожгла ее взглядом, — казалось, она была готова отхлестать бразильянку по щекам.

Впрочем, она тут же овладела собой, расслабилась и буркнула:

— Да пусть делает что хочет.

— Ладно, только сначала спроси у него, чего он хочет! — сказала мадам Симона, прекрасно умевшая справляться с буйными выходками Мамы.

Сент-Эспри подошел к Маме и робко протянул ей букет роз, который до этого прятал за спиной. Мама залилась краской, потупилась и, явно тронутая, дрожащей рукой приняла цветы. Мои предки разыгрывали из себя влюбленную парочку. После моего рождения прошло целых

---

[20] Примечания: 20
Святая Мария, Иисусе сладчайший, ой, держите меня! (*исп.*)

[21] Примечания: 21
Да, красавица? (*исп.*)

двенадцать лет, а они флиртовали друг с другом то робко и стыдливо, то пылко, как подростки, ходя вокруг да около, не осмеливаясь сделать решительный шаг, и каждый из них ждал этого от другого. Меня их выкрутасы приводили в недоумение, я никак не мог понять, чего они тянут, вместо того чтобы попросту спать вместе…

Сент-Эспри пригласил Маму в кино, но она посмотрела на него так возмущенно, словно он звал ее в бордель.

— И что ж мы там будем смотреть?

Он начал перечислять фильмы, казавшиеся ему интересными, явно готовый к тому, что она его оборвет на полуслове.

— Ну ладно, тогда на десятичасовой сеанс. А до этого я буду прогуливаться с Феликсом по Африке.

Мамин ответ ясно говорил, что ей плевать на сам фильм, так же как и ему, — она и выбирать-то не стала, видно, просто хотела посидеть рядом с ним, вдохнуть его запах, коснуться, как бы случайно, его плеча, его ноги.

Пока Мама готовила нам ужин на скорую руку, господин Софронидес комментировал последние политические события; его, как всегда, никто не слушал, кроме Изадоры, платиновой блондинки,

метр девяносто, груди — как пара снарядов; она была сторонницей крайне правых и любила вести полемику с нашим философом.

В глубине помещения Белот и Ребелот занимались армрестлингом с мадемуазель Тран, сцепив руки и упершись локтями в стол. Под ободряющее тявканье пуделька Месье евразийке — даром что с хрупкими пальчиками, но сосредоточенной, неустрашимой, с раздутыми ноздрями — удавалось прижать к столу лапы здоровенных лесбиянок, толстые, как их ляжки.

От этой мадемуазель Тран прямо обалдеть можно! Накануне она уже выиграла соревнование по сакэ, продержавшись дольше других, и последней рухнула на бесчувственные туши Белот и Ребелот, которые впали в кому после двух бутылок. Эти трое каждый день в чем-нибудь да соревновались. Лично я избегал участия в их играх — не люблю иметь дело с девицами.

Поэтому я подошел к Роберу Ларуссу, съежившемуся на своем стульчике.

— Что это у вас такой унылый вид, месье Ларусс?

Он провел хилыми пальчиками по своим редким волосам.

— Я совершил страшный грех, Феликс. Непро-

стительное деяние! Я заглянул на последнюю страницу словаря.

— Вы???

— Да. — И он перешел на шепот: — Знаешь ли ты, какое там последнее слово?

— Нет.

— Zzzz — «ономатопея[22], означающая непрерывный, слегка вибрирующий шум — жужжание насекомых, свист кнута, храп или посвистывание спящего человека».

— Ну точно: над такой книжкой и задрыхнуть недолго! — воскликнула мадам Симона, как раз подававшая ему бокал божоле.

Робер Ларусс вздрогнул и разинул рот. Что позволило мадам Симоне, вытиравшей тряпкой его столик, добавить еще каплю яда:

— Ну и зря, теперь вы знаете, что там, в конце.

Когда она отошла, он вытер пот со лба носовым платком размером чуть ли не со скатерть.

— Какое разочарование! Вся работа коту под хвост… Я чувствую в этом нечто зловещее.

— Чего?

— Теперь мне суждено скучать… Чем я заполню грядущие годы?!

---

[22] Примечания: 22

Z — последняя буква французского алфавита. Ономатопея (*лингв.*) — звукоподражательное слово.

И тут меня осенило. Я вытащил из ранца документ, который хозяин книжного магазина с улицы Журден вручил мне, когда я закупал у него школьные принадлежности.

— Вот, держите. Это каталог серии «Плеяда» — потрясающая коллекция, в которой представлены все великие писатели человечества, от Античности до наших дней. Лучшего книжного справочника на свете нет, здесь перечень всех произведений, которые обязан читать запоем каждый культурный двуногий!

— И небось составлен в хронологическом порядке? — осведомился он с презрительной гримасой.

Но стоило ему открыть каталог, как его измученное лицо восторженно просияло.

— Слава богу, в алфавитном! Какое великолепие! Я начну с Алена, Андерсена, Ануя, Аполлинера!..

Он даже порозовел от полноты чувств.

— …когда-нибудь… когда-нибудь…

И взволнованно посмотрел на меня:

— Спасибо тебе, Феликс! Ты подарил мне новую цель в жизни! Как только я покончу со словарем, возьмусь за «Плеяду» в алфавитном порядке.

И добавил, из вежливости:

— Ты, конечно, прочел некоторые из этих книг?

— Только Золя[23].

Робер Ларусс горестно потряс головой: произведя быстрый подсчет, он, видимо, засомневался, что успеет до конца жизни прочитать столько книг, однако через несколько мгновений прошептал, устремив помутившийся взгляд в пространство:

— А в общем, кто знает…

И тут Мама похлопала меня по плечу:

— Пора, Феликс, милый.

Съев по горячему сэндвичу с сыром и ветчиной (любимая закусь бразильянок) и не забыв оставить несколько кусочков на полу кафе для наших предков, мы направились к двери. Мама объявила Сент-Эспри, что после нашей экскурсии она встретится с ним здесь же, у выхода, и крикнула своей компаньонке:

— Ты закроешь лавочку, Симона?

— В двадцать часов.

— В двадцать часов? Почему так рано?

Мадам Симона нахмурилась, строптиво вздернула голову и, поджав губы, процедила:

---

[23] Примечания: 23

Фамилия Золя начинается на Z (Zola), то есть на последнюю букву французского алфавита.

— Бамба возвращается из Дакара.

Это объявление было встречено всеобщим молчанием. Даже бразильянки и те перестали кудахтать. Задавать вопросы было так же опасно, как нажать на красную «атомную» кнопку. Холодная война. Status quo. Никто не имел права расспрашивать мадам Симону о Бамбе или Бамбу о мадам Симоне.

Мы знали только одно: в тот трагический вечер, когда Бамба покинул нашу квартиру, он нашел пристанище у мадам Симоны.

И с тех пор они жили вместе. Вот тут опять-таки назревал коварный вопрос: что значит — жили вместе? Как друзья? Или как любовники? Обнаружил ли Бамба, к какому полу изначально принадлежала мадам Симона? Это оставалось тайной для всех. Они оба были по-прежнему приветливы, очаровательны и открыты для всех нас, но затрагивать их личные чувства запрещалось под страхом разрыва дипломатических отношений. Бамба, разодетый как английский лорд, непрерывно мотался между Парижем и Дакаром, объясняя это необходимостью развивать свой «Бизнес, бизнес!», а я, выходя из кафе, заприметил, что мадам Симона сменила цвет своей помады, чтобы встретить его во всеоружии.

Мы с Мамой расположились на вершине Монмартрского холма. Париж лежал у наших ног. И, как обычно по вечерам, начали «африканское бдение», вмененное нам в обязанность Папой Лумом.

Вернувшись в Париж, я довольно скоро убедился в справедливости его убеждения, что Париж поглощен небытием. Деревья приняли цвет асфальта, асфальт принял цвет камней, камни приняли цвет уныния. Земля, слишком усердно очищенная, просеянная, обезвреженная и стерилизованная, стала бесплодной, она задыхалась в панцире асфальта и дорожных плит, уложенных так плотно, что в узеньких зазорах между ними почве нечем было дышать, оттуда не прорастали даже хилые пучочки мха, а туда просачивалась лишь жидкая грязь. Даже ветер и тот больше не гулял по городу привольно — на его пути стояли стены; в Сенегале он взметался, он свистел, он завывал во весь голос, здесь же его словно посадили под замок. Так можно ли жить в этой тюремной атмосфере, лишенной тропической жары, диких птиц, кровожадных животных, назойливых насекомых?! Без боязни ночных духов. Без поклонения солнцу и трепета перед ним. Без ожидания дождя. Без панического ужаса перед хищниками.

Без страха перед соседней деревней. Где прячется гепард? Где начался пожар? Где скрываются демоны? Откуда являются добрые духи?

Я понял, что Маме грозит рецидив болезни в этом городе, который загубил природу, который убил мертвых, — ибо в Париже даже мертвые считаются мертвецами. Папа Лум и Архимед, его таинственный пес-помощник, были правы: нужно использовать определенный метод, чтобы вложить в рациональное долю иррационального.

Итак, теперь, выйдя из кафе, мы первым делом смачивали ноги. Должен признаться, это была идея Мамы: однажды в воскресенье ее возмутила мысль, что мы ходим по улицам, не оставляя следов:

— Это же невыносимо, милый Феликс! Город просто издевается над нами! Он не запечатлевает никаких следов на нашем пути. А это значит, что он либо отвергает нас, либо презирает. Никаких следов! Как будто нас и вовсе здесь нет.

С тех пор мы носили с собой бутылку, вернее, дорожную флягу с водой, которой смачивали подошвы ног в теплую погоду и подошвы обуви, когда холодало. И до чего же приятно было, обернувшись, увидеть наши легкие отпечатки

на асфальте, которые шли то по прямой то зигзагами, то сходились, то расходились, перед тем как испариться и продолжить свою фарандолу уже в воздухе.

А еще я подсказал Маме идею переименовывать вещи, чтобы выявить их душу. Таким образом, она окрестила деревья «просителями», ибо они простирают свои ветви к небу, прося у него дождя для листвы, а корни вонзают в землю, прося для них пищи.

— У них нелегкая жизнь, у этих просителей. Хуже, чем у комнатных растений в горшках, — асфальт душит землю, где растут деревья, а городская пыль закрывает от них солнце.

Как-то вечером, когда мы гуляли по Елисейским Полям, она прониклась жалостью к платанам:

— Ой-ой-ой, милый Феликс, ты только посмотри, что эти чинуши из мэрии сотворили с платанами! Обкорнали их, изуродовали, ампутировали ветви, лишь бы расставить по стойке смирно и соблюсти симметрию на авеню. Это уже не «просители», а «древозаменители».

Отныне ветер у нас именовался Любовником, всеобщим, но невидимым, который ласкает, обольщает, овладевает, чье дыхание ощущается на листьях, волосах, одежде. Что же касается крыс,

то их Мама нарекла «прорицателями», поскольку эти мудрые, сверхпрозорливые животные ясно предчувствуют грядущие события, дожди, голод и землетрясения.

— Это естественно! Они изучили землю лучше нас и знают, что если она и задыхается на поверхности, то дышит через сточные трубы и освежается в подземельях.

Теперь Мама заставляет меня дышать Парижем, вбирать в себя этот город с его ядреными запахами — сырыми, размытыми, едкими, приторными, безбоязненно наполнять легкие как дыханием бульваров, так и кислой вонью туннелей, куда вонзаются поезда метро. Плохих запахов не бывает. Плохо совсем не иметь запаха. В каждой малости таится целая вселенная, зловещая или прельстительная, — исходит соками, стонами, испарениями.

«Мир принадлежи тем, кто его созерцает, — сказал мне Знахарь. — В одном мгновении твоей жизни сокрыты века, тысячелетия. Видимость не есть видимость пустоты, — скорее, это видимость скрытой вселенной». Панорама у наших ног кажется морем огня, откуда выстреливают искры, пляшущие вокруг воздетого к небу факела — Эйфелевой башни. Париж, охваченный радостным,

праздничным возбуждением, щеголяет всеми своими драгоценностями.

— Посмотри вон туда, Феликс! Это мангровое дерево…

Рождество перенесло тропики в Париж. Глядя на тысячи пышных гирлянд, распростерших над улицами свои пестрые ветви, украсивших фасады, обвивших крыши, Мама воочию видит раскидистые мангровые деревья, растущие по берегам рек; их гибкие ветви ниспадают к земле и переплетаются там, чтобы в свой черед стать корнями; ей чудится ласковое касание солнца, пронзающего их пышные кроны, пестрое оперение птиц, душный, горячий африканский воздух, фантасмагория красок и запахов. Мы явственно слышим гулкий зов земли, дома движутся, не сходя с места, все колеблется, все пляшет, все трепещет. Энергия Парижа властно заявляет о себе, всех покоряет, повергает в транс.

— Ты видишь Бьевру?[24]

Вот уже неделю мы пытаемся разгадать душу этой подземной реки, более скрытной, чем Сена, хотя и вполне реальной.

---

[24] Примечания: 24

Река Бьевра, приток Сены, протяженностью 36 км, протекала на юге Парижа, но к началу XX века была так сильно загрязнена промышленными отходами, что ее отвели в подземные туннели.

— Слушай меня внимательно, Феликс. Дух Бьевры родился в церквях и соборах. Древние люди строили святилища возле источников, этих космических уст, этих отверстий, что вели к обиталищам подземных сил. И они не разбирали, где запад, где восток, они объединяли Землю и Небо. Вглядись получше.

Что это было — иллюзия? Или самовнушение? Не знаю, но теперь я различаю какую-то таинственную ауру вокруг куполов и колоколен Латинского квартала.

— Да, это Бьевра, — подтверждает Мама.

Мы любуемся не только городским пейзажем в целом, но и его мельчайшими деталями. Он уже не выглядит банальным. Ибо Мама смотрит на Париж тем же взглядом, каким она обводила саванну и джунгли. Между нами двоими существует тайный уговор, возбраняющий ограничивать реальность видимым. Папа Лум недаром предупредил меня: «Африка — это воображение на Земле. Европа — это разум на Земле. И ты не познаешь счастья, пока не научишься наделять каждую из них свойствами другой».

Мама разражается смехом. Как хорошо она смеется! Жемчужные переливы этого веселья, рожденные в ее груди, согревают мне сердце.

— Сегодня мы с тобой открыли дух Бьевры. Завтра будем искать баобабы.

— Баобабы — в Париже?

— Ну да — места, где можно укрыться для чтения.

У меня сразу возникает масса идей, и я заранее радуюсь предстоящему дню, но все же хочу обсудить с Мамой одну насущную проблему:

— Ты уже виделась с нотариусом, чтобы определиться с положением нашего кафе?

— Да. Он мне объяснил, какие шаги нужно предпринять, чтобы узаконить его статус и узнать, что лучше — продать «На работе» или сохранить.

— И что же?..

— Попроси совета у врага и сделай наоборот.

И Мама с ласковой усмешкой сжимает мое плечо.

— Ты помнишь то время, когда я все считала, милый Феликс? Так вот: я не хочу, чтобы это повторилось, не хочу больше убиваться из-за денег, из-за счетов — меня это чуть не прикончило.

И она указывает на стайку воробьев, бестолково мечущихся над куполом Сакре-Кер.

— Почему птицы летают? Серьезные люди скажут тебе, что они должны двигаться, охотиться за пищей, изучать небо — словом, делать нечто

полезное.

Какой ужас! Нет, птицы летают, как поют, — ради удовольствия, ради красоты полета, ради минутного экстаза.

И Мама улыбается шумному, сверкающему городу или, вернее, впитывает его всеми органами чувств: пробует на вкус, на слух, на запах, смакует с блаженной улыбкой, прикрыв глаза. И говорит:

— Мир принадлежит тем, кто решил ничем не владеть.

Мадам Пылинска и тайна Шопена

В доме моего детства жил чужак. Соседи думали, что семья Шмитт состоит из четырех человек: двое родителей, двое отпрысков, тогда как жильцов в нашем доме было пятеро. Нашу гостиную оккупировал чужак, незваный гость, этот несносный ворчун там спал и бодрствовал, не сходя с места.

Взрослые, занятые своими делами, игнорировали его, разве что мать, слегка раздраженная, порой заглядывала в гостиную, чтобы привести его в порядок. Знакомство с несчастным поддерживала лишь моя сестра: каждый день около полудня она будила его, на что он громко реагировал. Я же его ненавидел, гулкие звуки, мрачный вид, прямолинейные очертания, замкнутость — все это отталкивало меня.

Вечером, в кровати, я нередко молился, чтобы этот тип исчез.

Но как давно он поселился у нас? Кажется, он всегда торчал в нашей гостиной. Коричневый, приземистый, раздавшийся вширь, весь в ка-

ких-то пятнах, с желтоватыми зубами слоновой кости. Его коварная немота сменялась жутким грохотом. Когда наступало время старшей сестры, я сбегал в свою комнату и принимался петь, зажав руками уши, не желая слушать их диалог.

В гостиной, с опаской обходя чужака, я бросал в его сторону грозный взгляд, чтобы он не вздумал сдвинуться с места; ему следовало понять: мы никогда не подружимся; он же притворялся, что не замечает меня. Мы так упорно избегали друг друга, что неприязнь витала в воздухе. По вечерам он молча слушал семейные разговоры, не комментируя их. Похоже, он бесил только меня, поскольку родители привыкли к его массивному присутствию.

Чужака звали Шидмайер, это было фортепиано, этот приживал появился еще при деде и переходил из поколения в поколение.

Под предлогом изучения музыки моя сестра каждый божий день терзала его. Или наоборот… Из этого буфета орехового дерева нельзя было извлечь никакой мелодии, лишь удары молоточков, фальшивые ноты, скрежет спотыкающихся гамм, обрывки пьес, прихрамывающие ритмы и режущие слух аккорды. В ее репертуаре («Последний вздох» и прочие турецкие марши) я

особенно боялся того, что сестра называла «Письмо к Элизе»; пытка, сотворенная палачом по имени Бетховен, просверливала мне уши, как бормашина дантиста.

Однажды в воскресенье, когда мы праздновали мой девятый день рождения, светловолосая и женственная тетя Эме, шелковистая, напудренная, благоухающая ирисами и ландышами, указывая на спящего людоеда, спросила:

— Эрик, это твое пианино?

— Вот уж нет!

— А кто на нем играет? Флоранс?

— Похоже на то, — буркнул я, скорчив гримасу.

— Флоранс, сыграй нам какую-нибудь пьесу…

— Да я не знаю ни одной, — простонала сестра, чью искренность я оценил в кои-то веки.

Эме не удовлетворилась таким ответом. Потерев подбородок, украшенный прелестной ямочкой, она сказала:

— Давай посмотрим…

Я рассмеялся, выражение «давай посмотрим» всегда казалось мне забавным, тем более что мать обычно приговаривала: слепой сказал «посмотрим…»

Не обращая внимания на мое веселье, Эми деликатно приподняла деревянную крышку,

будто открывала клетку дикого зверя, оглядела клавиши, пробежала по ним тонкими пальцами и, когда в комнате раздался рык, внезапно убрала руку: хищник вздыбился, норовистый и грозный.

Затем тетя Эме терпеливо повторила подход, приняв меры предосторожности. Левой рукой она погладила клавиатуру. Зверь издал приглушенный звук; редчайший случай — чужак не топал, а реагировал почти дружелюбно. Эме четко сыграла арпеджио; грубиян послушно замурлыкал; он подчинялся, она приручала его.

Удовлетворенная, Эме отвела руку, внимательно посмотрела на тигра, которого превратила в котенка, села на стул и, уверенная в себе и в звере, начала играть.

В солнечной гостиной возник новый мир, совершенно иное светящееся пространство, окутанное пеленой, спокойный, таинственный мир, от колыхания его волн по спине пробежали мурашки, этот мир заставил нас внимать. Чему? Этого я не знал. Необыкновенное, только что свершившееся событие провозгласило рождение параллельной вселенной, прозрение иного способа существования, мира плотного и эфирно-прозрачного, роскошного и летучего, хрупкого и

мощного; открывая все, этот мир хранил глубину тайны.

В тишине, пронизанной нашим восхищением, тетя Эме посмотрела на клавиатуру, улыбнулась ей в знак благодарности, а затем обернулась к нам, моргая, чтобы сдержать слезы.

Расстроенная сестра укоризненно покосилась на Шидмайера, ей он ни разу не изволил так откликнуться. Родители переглянулись, ошеломленные тем, что этот темный пузатый сундук, торчавший в доме лет сто, способен производить столь чарующее воздействие. Я же, потерев вздыбленные волоски на руках, спросил тетю Эме:

— Что это было?

— Шопен, разумеется.

В тот же вечер я заявил, что хочу учиться играть на пианино, а неделю спустя начались уроки.

Понимая, что его сговор с тетей Эме расстроил меня, Шидмайер торжественно снизошел ко мне: забыв о прежней враждебности, он покорно сносил мои гаммы, арпеджио, параллельные октавы, этюды Черни. Когда я постиг требовавшие кропотливого труда основы, моя учительница, мадам Во Тань Ло познакомила меня с Куперен-ном, Бахом, Гуммелем, Моцартом, Бетховеном,

Шуманом, Дебюсси… Сундук, попривыкнув ко мне, внял мольбам и принялся благосклонно исполнять мои желания. Мы воздавали друг другу должное.

Лет в шестнадцать я решил взяться за Шопена. Ведь я выбрал фортепиано именно затем, чтобы разгадать его тайну! Для разучивания моя преподавательница выбрала вальс, прелюдию и ноктюрн; я заранее трепетал при мысли, что мне предстоит пройти высшее посвящение.

Но увы, я мог сколько угодно развивать беглость пальцев, преодолевать технические трудности, заучивать пьесы наизусть, следуя темповым обозначениям, но мне так и не довелось испытать упоительной дрожи того первого раза, того прежнего великолепия, сотканного из шелка звуков, ласки аккордов, хрустального звучания мелодии. Фортепиано хоть и подчинялось нажиму моих пальцев, но не отвечало ни моим грезам, ни воспоминаниям. Чудо не удавалось повторить. Инструмент, к которому прикасалась Эме, звучал нежно, ясно, хрупко, трогательно, а мне он отвечал резко, по-мужски. В чем было дело? В нем? Во мне? В моей учительнице? Я что-то упустил, и Шопен ускользнул от меня.

Мое литературное образование требовало все

больших усилий, поэтому в двадцать лет я вынужден был покинуть Лион, родных, Шидмайера, отправиться в Париж, чтобы начать занятия в Эколь Нормаль[25], куда мне удалось поступить по конкурсу. И вот, покинув школьный монастырь, я наконец обрел свободу. Теперь я мог ходить куда захочется, танцевать, пить, флиртовать, заниматься любовью. Я с упоением пользовался новыми возможностями, наслаждался до полного изнеможения и так же до изнеможения работал. Свыкнувшись с новым образом жизни, я принялся искать учителя, который помог бы мне раскрыть тайну Шопена. Я был одержим им. Мне остро недоставало его света, покоя, его нежности. След в моей душе, оставленный однажды весенним днем, когда мне исполнилось девять, напоминал не то отпечаток, не то рану. Будучи еще юным, я испытывал ностальгию; мне было необходимо раскрыть секрет этой музыки.

Расспросив парижских приятелей, я вышел на подходящую кандидатуру: некая мадам Пылинска, пользовавшаяся превосходной репутацией польская эмигрантка, обосновавшаяся в Париже,

[25] Примечания: 25

Эколь Нормаль — высшая школа, один из наиболее престижных университетов мира, куда берут по результатам очень жестких экзаменов.

давала уроки в Тринадцатом округе.

— Алло?

— Добрый день! Я хотел бы говорить с мадам Пылинской.

— Я у телефона.

— Ну вот: меня зовут Эрик-Эмманюэль Шмитт, мне двадцать лет, я изучаю философию в Эколь Нормаль на улице Ульм и хотел бы продолжить занятия фортепиано.

— А с какой целью? Вы хотите стать пианистом?

— Нет, я просто хотел бы хорошо играть.

— А сколько времени вы можете уделить занятиям?

— Час в день. Может, полтора.

— Вы никогда не будете играть хорошо!

Гудок телефона. Она что — повесила трубку?!

Не смея поверить, что можно поступить так некорректно, я вновь набрал номер. Мадам Пылинска, похоже, ожидала, что я перезвоню, поскольку, едва сняв трубку, она, не удостоверившись, кто на проводе, воскликнула:

— Какие сногсшибательные претензии! Разве, занимаясь по часу в день, можно стать прима-балериной, или врачом, или архитектором?

— Нет…

— Вы оскорбили пианистов, предположив, что такой ничтожной малости достаточно! Вы нас унизили. Унизили лично меня, дали мне пощечину, смертельно огорчили, ведь я, представьте себе, последние сорок лет провожу за роялем от шести до десяти часов в день и до сих пор не могу утверждать, что играю хорошо.

— Простите мою оговорку. Я хочу не то чтобы играть хорошо, нет, мадам, просто играть лучше. Я не могу отказаться от Шопена.

Возникло затишье, продиктованное колебаниями. Мадам Пылинска пробормотала уже не так гневно:

— От Шопена?..

Атмосфера явно теплела. Воспользовавшись минутной передышкой, я пояснил:

— Я учился игре на фортепиано, чтобы исполнять Шопена, но у меня не получилось. Других композиторов я вроде бы тоже разбирал по косточкам, но они уцелели, а вот Шопен… Шопен… Он оказал сопротивление.

— Разумеется!

Слово вылетело, и она тотчас об этом пожалела. Я настойчиво продолжал:

— Фортепиано снабдило меня очками для чтения музыки. Я и читал. Но меня влекло к Шопену,

и тут… тут я играл ноты, соблюдал верные штрихи, подчинялся заданному темпу, но…

Я услышал шелест переворачиваемой страницы.

— В субботу в одиннадцать, у меня. Вам подходит?

Мадам Пылинска — лет пятьдесят, голова туго повязана шелковым шарфом, подчеркивающим строгие черты лица, — с порога оглядела меня с ног до головы, бровь приподнята, губы поджаты, словно я и есть ошибка.

— Слишком здоровый… — заключила она.

— Слишком здоровый… для чего?

Пожав плечами, она достала мундштук и, обхватив правой рукой локоть левой, поднесла мундштук ко рту.

— Дым не беспокоит?

Не дожидаясь моего ответа, она двинулась вглубь квартиры, не сомневаясь, что я последую за ней.

Миновав темный коридор, где мне попались три кошки, неприязненно воззрившиеся на меня, я оказался в музыкальной гостиной, заставленной низкими столиками, на которых лежали ноты. В воздухе аромат роз смешивался с запахом курительного табака.

— Ложитесь.

— Простите?

— Ложитесь под рояль.

Она указала на персидский ковер, расстеленный под роялем фирмы «Плейель».

Поскольку я медлил, она добавила:

— Вы что, боитесь пылевых клещей? Учитывая ваше телосложение, это им следует бояться…

Я присел на корточки, проскользнул под рояль и собрался ползти.

— На спину! На спину!

Я лег, подняв лицо к резонансной деке.

— Разведите руки. Коснитесь ладонями пола.

Я повиновался. В комнату прокрался рыжий котяра, вспрыгнул на пуфик, устроился поудобнее и с иронией посмотрел на меня.

Мадам Пылинска села за рояль.

— Сосредоточьтесь на своей коже. Да-да, на коже. Ваша кожа повсюду. Пусть она впитывает музыку. Шопен так и начинал. Он усаживался под фортепиано, когда его мать играла, и ощущал вибрацию. Музыка — это прежде всего физический опыт. Поскольку скупердяи слушают только ушами, станьте вундеркиндом: слушайте всем своим телом.

Она заиграла.

Как она была права! Музыка терлась о меня, облизывала, жалила, месила и разминала, раскачивала, возносила ввысь, оглушала, колотила, доводила до изнеможения, басы сотрясали меня, будто я оседлал раскачивающийся церковный колокол, верхние высокие ноты сыпались градом, холодные капли, горячие, теплые, тяжелые или едва заметные, обрушивались шквалом, приливной волной, затягивали в сети, в то время как вкрадчивый средний регистр обволакивал мою грудь, как нежный бархат, и я сворачивался клубком.

Покоренный, я сипло выдохнул:

— Браво! Великолепно! Вот это техника!

— Одной техники недостаточно. Когда эту технику наконец обретаешь, то оказывается, что это ничего не значит. Теперь вы! — приказала она, нацелив указательный палец на клавиатуру.

Я выбрался из своего укрытия и от волнения решил разыграть из себя шута.

— А вы — вы тоже уляжетесь под рояль? — спросил я с улыбкой.

— Я пока не знаю, стоит ли ваша игра свеч…

Я заиграл многократно отрепетированный

вальс «Прощание»[26].

— Стоп! — выкрикнула она через несколько секунд, обмахивая голову руками, чтобы рассеять отзвуки исполненного мной танца. — Ах, что за мука!

Я понурил голову. Мадам Пылинска пораженно разглядывала меня:

— Какое фортепиано было у вас все это время?

— «Шидмайер».

— Что?

— «Шидмайер», он стоит у нас дома.

— Никогда не слышала о таком… Похоже на кличку бульдога… что собственно и подтверждает ваше исполнение, такое впечатление, что… нет, я лучше промолчу… из христианского милосердия!

— То есть?

Она покачала головой:

— Вы как человек умственного труда играете ноты, а не звуки. Вы заботитесь о звуковысотной стороне, о музыкальной фразе, но в вашем прикосновении нет ни тембра, ни цвета.

— Что это значит?

— Вы оснащены для Баха. Типично для челове-

---

[26] Примечания: 26

Это известный вальс Шопена ор. 69.

ка, живущего рассудком. Бах задумывал музыку независимо от качества звука, благодаря чему ее можно исполнять на различных инструментах. Этакая музыкальная математика. «Хорошо темперированный клавир» остается шедевром, не важно, играют его на клавесине, на фортепиано, на аккордеоне, да хоть на ксилофоне! Бах — это музыкальные Гималаи, что высятся в лишенной тембров пустыне. В конце жизни он ослеп, но ведь с самого начала Бах сочинял музыку как глухой.

— Бах? Глухой?!

— Самый глухой из всех живших на земле. Глухой гений чистой воды. Представьте, Шопен более цельный музыкант, чем Бах: он уделяет столько же внимания тембру, как мелодии и гармонии.

— Шутите! Он ведь писал только для фортепиано.

— Это доказывает, что он мыслил тотально. Его музыка звучит именно так, как задумано. Он тщательно заботился обо всех музыкальных составляющих. Ему ставили в вину то, что он ограничивался фортепиано. Его упрекали в этом при жизни, ведь тогда и богатство, и слава для композитора были связаны с оперой или симфо-

ническим концертом. А он упорно стоял на своем. Вот это душевная сила! Вот это мудрость! Гений — это тот, кто быстро понимает, чего он должен достичь в жизни. Шопен раньше других завоевал известность и признание; уже в восемнадцать лет он восстал против здравых советов. Почему? Вовсе не потому, что презирал деньги, которые приносит успех, а потому, что отказывался пренебречь звучанием музыки. Он работал с тембром, как Рембрандт с пигментами на своей палитре. Бах — это рисунок, Шопен — живопись. Когда оркестр исполняет Баха, краски плавятся. Бах предлагает карандашные зарисовки, которые потом можно раскрасить. Шопен действует иначе. На самом деле его техника ближе к акварели. Все уникальным образом сливается, и размывание гармонических контуров напоминает смешение водных потоков.

Зардевшись, мадам Пылинска оглядела воображаемых оппонентов.

— Хватит долдонить, что его вдохновение было «сведено к фортепиано»! — решительно бросила она. — Он изобрел фортепиано. Благодаря ему оно стало миром, просторным миром, континентом, океаном, огромным, бесконечным.

— Бетховен, однако…

— Бетховен использовал фортепиано, но не служил ему. Он рассматривал его как наиболее подходящую замену оркестра. Использовал его по умолчанию, за неимением лучшего.

— А Шуберт?

— Шуберт сосредоточился на камерной музыке. Он писал пьесы для комнатного прямострунного фортепиано[27].

— Вы непреклонны!

Она вдруг замолкла, покраснела и со вздохом тихо пробормотала:

— Спасибо.

Моя реакция ее вовсе не оскорбила, а доставила ей живейшее удовольствие.

— Я смею считать себя хорошим учителем именно поэтому: как вы сказали, я непреклонна.

Ее веки дрогнули, она вновь обнаружила мое присутствие.

— Где вы живете?

— На улице Ульм, возле Эколь Нормаль.

— Рядом с Люксембургским садом?

— Верно.

— Отлично! Это упростит нашу задачу. На этой неделе вы обойдетесь без фортепиано. Каждое

---

[27] Примечания: 27

Прямострунное фортепиано — устаревшая модель фортепиано или рояля, где струны не перекрещиваются между собой.

утро отправляйтесь в Люксембургский сад. Присядьте на корточки на лужайке и попробуйте срывать цветы так, чтобы не стряхнуть росу.

— Простите, не понял.

— Обратите внимание, капли росы должны оставаться на лепестках или листьях. Ваши движения должны быть абсолютно точными! Понятно?

— Э-э…

— Господин философ, вы лупите по клавишам, как дровосек. Я хочу, чтобы ваши пальцы стали послушными, умелыми, культурными, полезными. С этого часа я требую от вас как физической, так и духовной деликатности.

— То есть до субботы я не должен поднимать крышку фортепиано?

— Нет! Тарабаня по слоновой кости, вы не продвинетесь. И еще, могу ли я порекомендовать вам второе упражнение?

— Да.

— Слушайте тишину.

— Простите?

— Сидя у себя в комнате, дышите ровно и вслушивайтесь в тишину.

— Но зачем?

— Шопен пишет о тишине: его музыка рож-

дается из тишины и туда же возвращается; она просто соткана из тишины. Если вы не умеете наслаждаться тишиной, то не оцените его музыку.

Она проводила меня до двери. Прежде чем переступить порог, я спросил:

— Сколько я вам должен?

— Мне никогда не платят за первый урок.

— Почему?

— Потому что он преследует лишь одну цель: обескуражить вас. Я вас обескуражила?

— Изрядно.

— Прекрасно. Будете платить мне начиная со второго урока.

Хотите верьте, хотите нет, но в ту неделю я скрупулезно исполнял указания этой странной польской дамы. Превозмогая утреннюю апатию, в половине восьмого утра я уже стоял у решетки Люксембургского сада — шеренги черных копий с позолоченными наконечниками — и ждал, когда служитель откроет высокие ворота; затем устремлялся в самый безлюдный уголок и, укрывшись под ветвями от посторонних взоров, упражнялся в собирании маргариток, усеянных жемчужными каплями, стараясь сохранить этот дар утренней зари. Сначала я терпел неудачу, затем, после многих попыток, мне удалось успо-

коиться, ощутить связь пальцев с дыханием моего тела, сделать кончики пальцев мягкими и безотказно послушными. В пятницу я уже воспринимал каждую каплю росы как младенца, приютившегося в углублении листа, младенца, которого хотел устроить поудобнее.

Исполнив это упражнение, я в своей студенческой комнате вслушивался в тишину, которой не существует в столицах, которая заставила меня спуститься в подвал, в глубины здания, подальше от звуковых помех, чтобы осознать простой факт: когда вселенная наконец-то замолкает, то оказывается, что мое собственное тело издает звуки: булькает, шипит, похрустывает, дышит. Разочарованный, я опасался всерьез погружаться в обман; однако я заметил, что мое внимание обострилось, пальцы стали более точными, а запястья и локти более пластичными.

— Входите, не стоит терять ни минуты, — сказала мадам Пылинска, открывая дверь. — Если вы выполнили мои предписания, то теперь вы подобны гранате с выдернутой чекой.

Мы помчались к роялю, сели, и я прикоснулся к клавишам.

— Играйте!

Я отважился исполнить Седьмую прелюдию,

опус 28.

После заключительного аккорда мадам Пылинска закурила сигарету.

— Не хочу себя хвалить, но это было почти сносно.

— Ничего не понимаю… Я и представить не мог, что можно продвинуться вперед, удаляясь от инструмента.

— Труд самосовершенствования требует качества, а не количества. Какая польза от пережевывания одной и той же пьесы? Сыграть десять раз плохо? Сто раз с ужасными намерениями, с жуткими движениями? Сколько можно пилить дрова?! — заметила мадам Пылинска.

Сев на мое место, она нежно тронула клавиши. Рыжий кот потерся о ее щиколотки.

— Следите за прикосновениями. Вам поможет этот способ высказывания.

Она перебирала аккорды, что явно нравилось коту.

— Это перебор! — запротестовал я. — Мне же нужно разучивать виртуозные пассажи.

По ее лицу прошел нервный тик, плечи дрогнули.

— Что? — Она буравила меня враждебным взглядом. — Что вы сказали? Виртуозные?

— Н-ну-у… да.

— Виртуозные? Я верно расслышала?

Подняв глаза к небу, она откашлялась, прикусила губу и отвернулась. Лишь правила приличия помешали ей пренебрежительно сплюнуть.

— «Виртуозные пассажи»… Если после многих лет занятий со мной вас назовут виртуозом, я повешусь!

— Но это вовсе не ругательство!

— Я пытаюсь вырастить художника, а не самовлюбленного нарцисса. Направьте свет на музыку, а не на себя. О! Этих виртуозов, которые внедряются между произведением и публикой, я бы расстреливала из автоматической винтовки.

— К счастью, оружие в концертных залах запрещено!

— Да что вы говорите! — рявкнула она. — И хорошо, иначе я бы прикончила больше народу, чем Сталин!

В волнении мадам Пылинска принялась мерить шагами комнату:

— Каждый должен быть на своем месте! Виртуозам место в цирке. Пусть упражняются именно там! Единственное, чем опасен акробат в ярмарочном балагане, это что публика воспламенится. Акробат на трапеции порой намеренно

ошибается, делая простейший трюк, если потом хочет исполнить куда более сложный. Легкая победа умаляет торжество. Возьмите теноров на оперных подмостках: они старательно демонстрируют, что взять верхнее *до* — это подвиг. Даже будучи уверенными в своем голосе, они тем не менее мимикой показывают, что рискуют пустить петуха. Паваротти эта комедия удается лучше, чем другим: хотя ему взять верхнее *до* так же легко, как съесть устрицу, он изображает, что берет ноту с усилием, а затем притворяется, что удивлен такой удаче, и вместе с толпой празднует триумф! Какой фарс! А еще он… нет, промолчу… из христианского милосердия!

— И все же верхние ноты Паваротти излучают свет!

— Этот клоун жаждет криков «браво». Шопен не стремился к овациям, он импровизировал, увлекая нас куда-то. Паваротти ведет нас к себе, Шопен — в другой мир.

— Куда?

Она вздернула подбородок:

— Вам нравится Лист?

— Я… я не знаю.

— Отличный ответ. Раз есть циркачи, то существуют и цирковые композиторы. Лист,

например.

— Вы жестоки, — не вытерпел я. — Как известно, Лист и Шопен познакомились в юности и, несмотря на то что публика разжигала их соперничество, сохранили подлинную дружбу. Лист высоко чтил Шопена, поддерживал его, распространял его пьесы в Европе, в России — и при жизни Шопена, и после его кончины; он даже написал книгу о нем. Лист много сделал для Шопена, больше, чем Шопен для Листа.

— Лучшее, что Лист сделал для Шопена, это само творчество Листа.

— О, как вы коварны!

— Нет, я говорю без злого умысла. Творчество Листа помогает понять Шопена. Эти два гения освещают друг друга.

Мадам Пылинска накинулась на клавиши, сыграв несколько тактов из Второй рапсодии Листа.

— Лист играл с поднятой крышкой рояля, а Шопен любил полностью закрытый инструмент. Этим все сказано, — пояснила она. — Лист хотел выйти из фортепиано, а Шопен вернуться. Лист блистает, отталкиваясь от звучащего корпуса; Шопен неустанно открывает красоты внутри фортепиано.

Она прижалась ухом к крышке рояля.

— Лист гремит, Шопен внимает. У Шопена фортепиано вслушивается в само себя, в его звучание, гармонии, мелодические обороты, неожиданные звуковые эффекты, обертоны, резонанс; Шопен ищет поэзию фортепиано, и ему этого достаточно. Лист ищет в фортепиано трамплин, чтобы покинуть этот инструмент; он выходит за пределы клавиатуры, взрывает ее, превращает рояль в оркестр, состоящий из множества различных инструментов, так что создается впечатление, что играют несколько человек. У Листа фортепиано утверждает собственную независимость, но при этом перестает быть фортепиано, оно превращается в ковер-самолет, парящий над вселенной, ее ручьями, озерами, бурями, зорями и закатами, колокольным звоном в долине, игрой воды, садами и лесами; а у Шопена вместо всего этого возникает замкнутый целостный мир, без дверей и окон, фортепиано у него — чувствительный, благородный, послушный инструмент, способный выразить все движение души.

Она вдохновенно продолжала:

— Лист поражает. Шопен чарует. Его виртуозность, едва проявившись, почти извиняется за свое присутствие и тотчас исчезает. У Листа настойчиво демонстрируемая виртуозность ста-

новится спектаклем, обычно она в конце концов выходит на передний план: Лист хочет, чтобы у нас захватывало дух, его произведения рассчитаны на финальное «ура», тогда как Шопен исследует возможности фортепиано, дивится найденным звучаниям и экспериментирует с ними. Лист сражает аудиторию наповал, а Шопен спрашивает самого себя. Лист — удивляет, Шопен — удивляется сам.

Она сыграла величественные листовские аккорды:

— Лист уже сформулировал и сообщил нам свою мысль, тогда как Шопен открывает ее на наших глазах, он медленно продвигается, опираясь на собственные средства. Лист — бог, который является, чтобы продемонстрировать свою власть, Шопен — падший ангел, который пытается отыскать путь на небеса.

Мадам Пылинска закрыла крышку рояля:

— Урок окончен!

Она провозгласила это, даже не взглянув ни на свои часики, ни на часы в гостиной.

Я протянул ей деньги, она молча сунула их в карман, потом указала мне на выход. Мы прошли по коридору, потревожив двух кошек, зашипевших от негодования.

— Скажите, господин философ, есть в Люксембургском саду водоемы? — спросила мадам Пылинска.

— Да.

— Это весьма полезное соседство для того, кто учится музыке. — Она открыла дверь. — Предлагаю вам перейти к следующему этапу. Придется немного потратиться. Сможете?

— Надеюсь, да, — ответил я, мысленно прикинув, сколько смогу пожертвовать на покупку нот.

— Фантастика! Купите зернышек.

— К-каких… зернышек?

— Наверное, в гранулах. Или можно хлопья.

— Хло…

— То, чем кормят карпов. Этот корм продается в зеленых коробках.

— Что?.. Вы хотите, чтобы я питался рыбьим кормом?

Она с ужасом посмотрела на меня:

— Разумеется, нет. Это слишком соленая пища.

— Вы хотите, чтобы я кормил карпов в Люксембургском саду?

— Какая мерзость! Ненавижу эти мягкие, покрытые тиной слизистые создания с их непристойно открытым ртом. Бог, должно быть, замеч-

тался, когда создавал карпов… Нет, предпочитаю не думать об этом. Надо помнить о христианском милосердии!

Она в ужасе потерла затылок.

— Но я не понимаю вас, мадам Пылинска…

— Отправляйтесь в Люксембургский сад и попробуйте добиться кругов на воде. Войдите в резонанс. Сначала созерцайте поверхность воды — плоской, гладкой, спокойной, потом бросьте немного корма: вода придет в движение. Изучите удар о воду, его последствия, сколько времени потребуется, чтобы круги возникли, распространились по воде и исчезли. Не делайте нарочитых движений. Наблюдайте. А в следующую субботу вспомните об этом: беря бас, позвольте звуку расти и умереть, или еще лучше, чтобы выделить мелодию на фоне гармонической волны, сумейте стать текучим.

— Текучим?..

Она нахмурила брови:

— Текучим, да, по-моему, так говорят. Текучим… Следует подчиниться волне, уловить пространство между звуками, но не пытаться схватить, а довериться происходящему, раздвинуть границы свободы. Текучим… Вас раздражает мой французский?

Она с недовольным видом распахнула дверь.

В ту неделю, когда к упражнениям с тишиной и росой добавились круги на воде, я получил послание от тети Эме, музыкальной феи моего детства, она сообщала, что приедет в Париж и будет рада меня повидать.

Вот удача! Эме и никаких тяжеловесных домашних трапез, Эме без докучных престарелых родственниц с растительностью над верхней губой, без детворы, навязывающей идиотские игры, Эме без домашней попойки и несварения желудка полностью в моем распоряжении.

Я обожал эту уникальную женщину. Ни мужа, ни семьи, ни детей, и все же ничего общего со старой девой. Очаровательная, кокетливая, всегда в курсе всех культурных новинок, она плыла по жизни, грациозно переходя от одного мужчины к другому, будто на балу, меняя в танце партнеров. На семейные сборища она всегда прибывала одна, что нравилось бабушке, повторявшей, что невозможно удержать в памяти больше мужских имен, чем есть в святцах. Та же бабушка, весьма привечавшая Эме в юности, не упускала случая ее пропесочить. В добром настроении она говорила, что Эме малость с приветом, в дурном — называла ее потаскушкой, при этом ревновала

ее настолько, что, застав нас с Эме за разговором, восклицала: «Эме Буффаван, не смей рассказывать ему свою жизнь, юнцам нельзя брать с тебя пример!» На самом деле Эме никогда не рассказывала мне подробности своей личной жизни, мы беседовали о массе вещей, но стоило затронуть ее связи, она лишь наскоро пробегала вокруг да около сплетен, вошедших в семейные анналы. Ее стыдливость нравилась мне тем сильнее, что позволяла восполнять фантазией белые пятна.

Чтобы пригласить ее в «Бальзар», достойный ее ресторанчик в стиле ар-деко рядом с Сорбонной, пришлось достать заначку. Под опаловыми стеклянными абажурами, освещавшими темные деревянные панели, мы, сидя на обитом молескином диванчике, в окружении официантов в белых фартуках, которые носились между столиками, болтали, наслаждаясь нашим тет-а-тет, перебирали забавные истории, блаженно, в экстазе, почти влюбленные друг в друга, несмотря на четыре десятка лет, нас разделявших. Я поведал ей, что именно она в день, когда мне стукнуло девять, определила мое увлечение фортепиано, потом позабавил ее, набросав портрет невероятной мадам Пылинской.

За десертом тень грусти легла на ее улыбку.

— Давай поедем в Кабур, — шепнула она.

— Когда?

— В субботу, после твоего урока. Я позабочусь обо всем: такси, билеты на поезд, номера в отеле. Вернемся в понедельник.

— Почему Кабур?

— Ну, это же очевидно, — мечтательно протянула она, это прозвучало так же, как одиннадцать лет назад «Шопен, разумеется».

Мне не потребовалось других доводов.

В субботу мадам Пылинска открыла мне дверь — в полном смятении, с опечаленным видом, тюрбан съехал набок — и объявила с порога:

— Альфред Корто умер.

— Что, простите?

Она подавила рыдание и повторила — трагическим тоном, уставившись в пол:

— Альфред Корто умер. Сердце не выдержало.

Я перепугался — мадам Пылинска явно утратила рассудок. Знаменитый исполнитель Шопена Альфред Корто покинул этот мир лет двадцать назад. Вряд ли она, посвятившая всю жизнь фортепиано, узнала об этом лишь сегодня.

— Ему было пятнадцать лет, — уточнила она.

— П-пятнадцать?..

— Мой Рахманинов дожил до двадцати двух!

Она указала на двух котов за ее спиной в коридоре:

— Рубинштейн и Горовиц ищут его повсюду. Я отвезла его к ветеринару, он потом отдаст мне урну. Бедный Альфред Корто… Ну входите же!

Посмотрев на оставшихся четвероногих, я пришел к выводу: Альфред Корто был тот рыжеватый котяра, что во время наших уроков сворачивался клубком на пуфике у кабинетного рояля. Через несколько секунд мадам Пылинска вышла из своей комнаты: поправив гранатовый тюрбан и закурив сигарету, как ни в чем не бывало она вновь впала в свой категоричный тон:

— Вы читали Жорж Санд?

— Кое-что читал.

— Поразительная женщина! Жорж Санд жаждала триумфа в музыке, но тут вышел облом, несчастная умела лишь стряпать одну книгу за другой. В конце концов она с досады решила поспособствовать расцвету Шопена — так распускается мак, защищенный от ветра. Основательная дама эта Жорж Санд! Когда Шопен жил у нее в Ноане, он был избавлен от материальных проблем, от необходимости давать уроки, мог целыми днями сочинять, играя на подаренном ею «Плейеле». Пока они были вместе, он задумал и

создал все свои шедевры. Весьма полезная дама!

— Вы меня шокируете.

— Я?

— Вы сводите роль женщины к обслуживанию мужчины.

— Да мне плевать, кто эта Жорж Санд, женщина, мужчина или кашалот! Меня заботит лишь гений.

Она посмотрела на портрет Шопена, мне померещилось, что она бегло перекрестилась.

— Когда Шопен впервые увидел Жорж Санд, он спросил: «Это что, женщина?» Когда Жорж увидела Шопена, то спросила: «Кто эта девушка?» Хороша история!

— И у них ничего не вышло! — воскликнул я.

Она смерила меня суровым взглядом:

— Напротив, все вышло удачно! Если вы спите с женщиной вашего типа, типа, который вас возбуждает, то у вас связь с абстрактной идеей, а не с этой женщиной. Контакт остается поверхностным — так, соприкосновение кожных покровов. Здесь возможна замена — не та, так другая. Санд не подходила Шопену, так же как и он ей: вроде бы им ничего не светило друг с другом. Но если посмотреть глубже… — Она взяла несколько аккордов. — На самом деле любишь лишь тогда,

когда не влюблен. — Покачав головой, чтобы поймать нить воспоминаний, она открыла том, лежавший на рояле. — В «Истории моей жизни» Жорж Санд описывает их медовый месяц, поездку на Майорку[28]. Шопен тогда работал над своими прелюдиями, и она рассказывает, как это было. Весьма поучительно. В ту ночь после проливного дождя вода стекала по водосточным трубам.

Она сыграла начало Пятнадцатой прелюдии…

— А вот это днем, когда мимо их окон шествовали паломники…

Она сыграла начало Девятой прелюдии…

— А однажды они вместе ловили бабочек на лугу…

Она перешла к Десятой прелюдии…

— А вот писк новорожденных крокодилов, что водились в болоте у самого монастыря в Вальдемосе, где они остановились.

Мадам Пылинска наиграла первые такты Второй прелюдии…

Я перебил ее:

— Скажите, мадам Пылинска, а разве на Бале-

---

[28] Примечания: 28

Зимой 1838/39 года Жорж Санд привезла Шопена на остров Майорка. Они остановились в Вальдемосе, маленьком городке (в 17 км от Пальма-де-Майорки), известном своим старинным картезианским монастырем.

арских островах водятся крокодилы?

Она в ярости встала:

— Нет, и никогда не водились!

— Жорж Санд несет невесть что.

— Я тоже! История с каплями дождя действительно была, остальное я выдумала. А вы и поверили?

— Пока не появились крокодилы.

— Ничтожный червь! Вы ничуть не лучше Жорж Санд. Сжалься, Господи, сжалься! Шопен отдан на съедение невежественной публике благодаря сплетням этой графоманки! Вот ведь дурища! Просто тупица… идио… нет, я лучше промолчу. Из христианского милосердия!

— Но ведь вы только что, напротив, утверждали, что Жорж Санд…

— Она сводит все к тому, что ей известно, к реальности, убогой реальности, которую описывает в своих книгах. Бедняга, она всего лишь писательница, романистка, иначе говоря, рабыня реальности. Шопен же музыкант, ему не нужны слова, ведь у него есть то, что словами не выразить.

Она перелистала ноты:

— Как он называл свои произведения? Вовсе не «Грусть», как напечатано у этого кретина

британского издателя, а этюд опус 10, номер 3. Не «Прощание», а вальс опус 60, номер 1. Не «Капли дождя», а прелюдия опус 15, номер 28. Не «Щенок», а вальс опус 64, номер 1. Вы отвергаете крокодилов в болоте, потому что на Балеарских островах нет ни одного крокодила, но тогда следует отвергнуть и капли дождя, и шествие паломников, и бабочек! Шопен не описывает, не воскрешает в памяти, не рассказывает. На самом деле Жорж Санд куда больше подошла бы Листу, который сочинял программную музыку, музыку, иллюстрирующую стихи, игру воды в фонтанах на вилле д'Эсте, или же предлагал такие названия, как «Воспоминание», «Благословение», «Утешение». Шопен вообще не отталкивается от того, что идет извне: он творит! Никакие мысленные образы не предшествуют его музыке. Это музыка диктует свою реальность духу. Она остается непорочной. Она не выражает чувства, она их вызывает.

Мадам Пылинска потрясла стопкой нот:

— Шопеновские названия, почти математически строгие, оказываются более точными и более таинственными: они не называют эмоций, эмоции рождаются из музыки. И она, затрагивая невыразимое, говорит то, что нигде и никогда

еще не было сказано.

Исполнив Первую балладу, она растерла руки и щеки, а потом с улыбкой взглянула на меня:

— Я смотрела прогноз погоды: вам повезло!

— То есть?

— Предстоит ветреная неделя. Сплошные ветра разных видов и силы.

— И что?

— Идеальная погода для Шопена! Возвращайтесь в Люксембургский сад, сядьте — да-да, я разрешаю вам сесть — и внимательно наблюдайте за тем, как ветер колышет ветви деревьев.

— За чем именно мне следует наблюдать?

— За тем, насколько листья и ветви независимы по отношению к стволу.

— Почему?

— Просто наблюдайте. Чувствуйте. Я потом вам объясню. Ах да, важная деталь: выбирайте молодые деревца, совсем молодые, а не столетние деревья. Договорились?

Она жестом показала, что урок окончен. Протягивая ей банкноту, я позволил себе заметить:

— Мадам Пылинска, а вы понимаете, что не просили меня сыграть вам сегодня?

— Разумеется.

— Ни разу.

— Разумеется.

— И что вы вот уже несколько недель запрещаете мне прикасаться к клавишам?

— Разумеется.

— И вы всерьез полагаете, что я буду лучше играть, избегая фортепиано?

— Если бы для того, чтобы стать пианистом, было бы достаточно часами играть на инструменте, то мы бы об этом знали, не так ли?

Она, как обычно, провозгласила свое убеждение с безапелляционной уверенностью, и я прекратил дискуссию. На пороге я пробормотал:

— Примите мои соболезнования. Альфред Кортo был… привлекательным котом.

— Он так любил музыку!

У нее на глазах внезапно выступили слезы, она в растерянности пробормотала «спасибо» и затворила двери, оставшись со своим горем.

Мы с Эме брели рука об руку вдоль берега под нежно-серым небом, которое вяло рассекали чайки. Привыкший к Средиземноморью, я со сдержанными чувствами присматривался к Ла-Маншу, его перламутровому свету, вечным ветрам, бледному песку, странной лазури, затянутой облаками, бледно-розовым водам прилива, бескрайнему горизонту, волнистым дюнам и

морской соленой воде.

— Средиземное море — оно для детей, а Ла-Манш — это море для взрослых, — заключила Эме.

На самом деле я чувствовал себя старым меланхоликом. О чем же я тосковал, открывая Кабур? Быть может, о богатом событиями прошлом, о котором свидетельствовали каменные дома? А может, о Марселе Прусте, который, в «Поисках утраченного времени», превратил Кабур в Бальбек, сделав его незабываемым театром своих страстей. Неужто я, как старинный бювар, пропитался воспоминаниями тетушки?

— Мне здесь очень нравилось. Кажется, как-то раз я здесь даже прониклась ощущением счастья, полного счастья.

Я поперхнулся смешком. По-моему, так Эме, влюбчивая Эме, сумасбродка или потаскушка, как называла ее бабушка, далеко не однажды за свою жизнь имела возможность наслаждаться счастьем. Что она имеет в виду?

Она сжала мой локоть и заговорила. В Кабуре, давным-давно, она познакомилась с Роже, единственной любовью своей жизни. Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Как и Эме, он приехал из Лиона, где работал торговым предста-

вителем одной фирмы. Продержавшись три дня, Эме сдалась и прильнула к мощному торсу этого привлекательного и удивительно нежного мужчины. Они провели в Кабуре лето, короткое лето, чувственное, щедрое, яркое, пылкое, томное, такое интенсивное и такое совершенное, что оно могло бы озарить своим светом всю оставшуюся жизнь. Роже был женат, он поклялся расстаться с женой. В сентябре Эме вернулась в Лион, где работала секретарем нотариуса. Роже вернулся к семейному очагу, к жене, которая два месяца разъезжала по служебным делам. Их роман продолжался тайно, но Роже уверял Эме, что скоро обретет свободу. Однако его супруга заболела, и, соблюдая приличия, Роже отложил развод до ее выздоровления. Однако, поправившись, она забеременела; Роже, исполненный сострадания к ней, вновь оправдывался перед Эме, утверждая, что не хочет поступать по-свински.

— Поэтому он именно так поступил с тобой.

— Да.

— И ты смирилась с этим?

— Конечно.

— Почему?

— Эрик, врач как раз сказал мне, что у меня не будет детей. А я не желала признаться в этом

Роже. Ты понимаешь, что значит, когда ты не в состоянии родить ребенка человеку, которого любишь? Пусть уж он строит семью в другом месте.

Эме призналась, что до последнего дня довольствовалась ролью любовницы. Она терпела двойную жизнь Роже, праздновала с ним рождение его первого сына, второго, а также маленькой девочки, появившейся на свет пятнадцать лет спустя. Для Эме это была траурная череда: траур по исключительной любви, траур по постоянно откладывавшейся возможности вступить в брак, траур по отпускам и выходным, которые Роже проводил с семьей, траур по собственным детям. Но эту печальную фарандолу она называла счастьем. Десятилетиями она ждала, цепляясь за обещания человека, который так и не сдержал их. Порой Роже, измученный жертвами, которые вновь и вновь приходилось приносить деликатной Эме, сетовал на то, что она перестала требовать, чтобы он разрушил свой семейный очаг, заявлял, что она больше не любит его; тогда она доказывала ему обратное, и их тайная любовь расцветала и крепла.

— Вот почему я выдумывала бесконечные истории о женихах и любовниках, и вся родня, особенно твоя бабушка, на протяжении многих

лет смаковала их. Эта легенда защищала Роже, да и меня тоже. Скверная репутация — отличный щит для того, кто стремится держаться в тени.

Кроме Роже, у Эме не было других мужчин, она ждала его всю жизнь, подбирая крошки, оставленные его супругой.

Эме остановилась и посмотрела на меня:

— Эрик, теперь тебе понятно, почему Шопен?

В ее взгляде сквозила такая надежда, что у меня духу не хватило поколебать ее веру. И я утвердительно кивнул:

— Шопен, да, конечно…

Она явно обрадовалась, что я разделяю ее мнение. Я пытался скрыть, что мне стыдно за свой обман. Шопен… Почему Шопен? Какое отношение имеет Шопен к этой истории? Я не понимал…

Мы медленно брели к «Гранд-отелю», не говоря ни слова. К счастью, теперь мы не видели лиц друг друга, потому что эта сблизившая нас прогулка притягивала наши взоры к небу, песку, морю, к этому простору, размывавшему стыдливость, но когда наши взгляды встречались, мы чересчур остро ощущали присутствие другого.

Поднимаясь по лестнице на террасу, я удивленно спросил:

— Эме, а почему ты мне рассказала об этом?

Ее пальцы стиснули мой локоть.

— В прошлом месяце Роже умер, — тихо сказала она. — Я хотела, чтобы кто-то узнал правду: мою, его. Ты видел сегодня, как волны в два счета стерли с песка детский рисунок? Мне хотелось, чтобы моя история не исчезла в морской пене, чтобы она хоть немного удержалась в памяти, твоей памяти.

По возвращении в Париж я каждый день отправлялся в Люксембургский сад, чтобы разглядывать деревья, или, скорее, как требовала мадам Пылинска, смотреть, как играет ветер в листве. Занятие это меня утомляло, тем более что из головы не выходили признания Эме, которая вернулась в Лион.

Когда в субботу я позвонил в дверь мадам Пылинской, она прямо с порога спросила меня повелительным тоном:

— Вы политеист?

— Что?

— Лично я монотеистка. Я люблю единственного композитора: Шопена. Убеждена, что меня послали на землю, чтобы играть и слушать Шопена. А вы?

Протиснувшись в темный коридор, я ответил:

— Мадам Пылинска, полагаю, что я политеист.

Я поклоняюсь разным богам: Бах, Моцарт…

Потупившись, она великодушно согласилась:

— Что ж, такое отклонение приемлемо. Шопен обожествлял Баха и Моцарта.

Я продолжил свой список, не замечая, что перечисление ее уже раздражает:

— Шуман…

— Допустим! Он пришел к выводу, что Шопен гений.

— Шуберт, Дебюсси, Равель…

— Дебюсси и Равель очень многим обязаны Шопену, они нередко говорили об этом. А еще кто?

Она напряглась, с трудом принуждая себя держаться благожелательно. Ей был невыносим не сам факт существования других композиторов, а то, что их ставят в один ряд с Шопеном.

— Ну вот… — Малость покривив душой, я завершил свой перечень.

Она с облегчением вздохнула и села за рояль.

— Возьмем эту прелюдию. Сначала я сыграю ее, а потом уступлю вам место.

Пока мадам Пылинска перебирала клавиши, с потолка на этот зов начал спускаться паучок. Протягивая нить, он замедлил свое падение в полуметре от струн рояля и завис. Кого он подстерегал? На кого нацелился? Пока звучала

прелюдия, он висел в воздухе, перебирая изящными лапками. Я хотел было указать на него мадам Пылинской, но она, взяв последний аккорд, бросила тоном, не терпящим возражений:

— Теперь вы.

Я сел на ее место. Не успел я сыграть первую строчку, как она крикнула:

— Стоп! Я слышу каждую тактовую черту. *Rubato!*[29] *Rubato!*

Я пытался выполнить ее требование, добиваясь *rubato*, этой излюбленной романтиками (в отличие от венских классиков школы) ритмической свободы. Я избегал сильных долей, стараясь не подчеркивать начало такта, уходя от жесткой регулярной метрики, от метронома. Это *rubato*, заимствованное время, представляло собой мелкую кражу, способ сокращать длительность предыдущей или последующей ноты, ускоряя или задерживая ее наступление.

— Стоп! Я просила *rubato*, а не бортовую качку на корабле.

Я начал сначала.

— Стоп! — Вновь прервала меня мадам Пылин-

---

[29] Примечания: 29

Rubato (*um.* tempo rubato — похищенное время) — свободное исполнение, обычно не подчиненное строгому темпу, в целях усиления музыкальной выразительности.

ска. — Вы сеете во мне сомнения: разве погода на этой неделе не была благоприятной для *rubato*? Дул ветер?

— Да. Но какое отношение…

— Левая рука — это ствол дерева, крепкий, надежный, непоколебимый, тогда как в верхах, в правой руке, трепещет листва мелодии. Разъедините ваши руки, они должны жить в разном ритме, как кора и ветви. Помешайте им замедлять и ускоряться одновременно, разделите их. Извлеките урок из ваших наблюдений за деревьями в Люксембургском саду!

Исполненный старания, я тщился следовать ее указаниям, но мне не удавалось раскрепостить воображение.

— Слишком много силы, мускулов, энергии, — заключила мадам Пылинска — мне казалось, вы более мягкий, гибкий, пластичный. — Она поправила прическу. — Перед следующим уроком займитесь любовью.

— Чем, простите?

— Вы прекрасно слышали, что я сказала, вы ведь просто одеревенели, а не оглохли. Я хочу вас раскрепостить. Приходите после любовного свидания.

Оглушенный, я молча протянул ей деньги. Про-

вожая меня к выходу, она, заметив мое состояние, пояснила:

— В Польше у меня была подруга с аналогичной проблемой — Магдалена, певица, лирическое сопрано, идеальный голос для Мими, Лиу, Мадам Баттерфляй, Маргариты или Манон[30]. Такая квадратная, чисто метательница копья, — впрочем, с правильно подобранным сценическим костюмом это не так страшно. Представьте, Магдалена прекрасно брала верхние ноты, если незадолго до выхода на сцену занималась любовью. Да, именно! При этом условии ее *си-бемоли* звучали почти божественно, сочно, насыщенно, сияюще. А иначе они напоминали свист локомотива.

— И что?

— Богдан, ее муж, каждый раз сопровождал ее в театр и разогревал ее верха в гримерке. Она получала все более престижные контракты: Варшава, Познань, Вроцлав, Вена, Берлин… Театры готовы были драться за нее. Богдан оставил свою автомастерскую, чтобы полностью посвятить время ей. Увы, она взялась за Вагнера, и Богдан облысел.

---

[30] Примечания: 30

Мими, Лиу, Мадам Баттерфляй, Манон — героини опер Дж. Пуччини «Богема», «Турандот», «Чио-Чио-сан», «Манон Леско». Маргарита — героиня оперы Ш. Гуно «Фауст».

— Какая тут связь?

— Вагнер — это оперы, часами исторгающие децибелы, адские перерывы между действиями… Чтобы жена чувствовала себя уверенно, Богдану приходилось в каждом антракте возобновлять работу. Выброс тестостерона. Больше секса — шире плешь. А потом она подписалась петь в тетралогии, и это доконало Богдана. Сердечный приступ. Кровоизлияние в мозг. Кресло-каталка. Занавес! — Она пробормотала: — Вагнер — это очень скверно для здоровья. Композитор, чреватый инфарктами и варикозом.

— Почему варикозом?

— Певице приходится проводить по четыре часа на ногах: выстаивать на сцене в сандалиях на плоской подошве, в пятнадцатикилограммовых доспехах со щитом и копьем: при этом жуть что творится с циркуляцией крови! Если бы в антракте «Валькирии» Богдан сплоховал, Магде был бы гарантирован провал… Она отказалась от певческой карьеры, утверждая, что ее верхние ноты не стоят жизни мужа. Ну, это официальная версия… Если берешься играть юных дев, а при этом тебе перевалило на шестой десяток и ты весишь сто кило, это чревато… нет, лучше помолчу… Из христианского милосердия!..

— Мадам Пылинска! Да вы смеетесь надо мной?!

Она остановилась, шокированная моим замечанием:

— Когда речь заходит об искусстве, я никогда не шучу. Этой женщине был необходим секс, чтобы обеспечить верхние ноты, вот и все. Оргазм давал ей силы и позволял расслабиться, а диафрагма при этом эффективно поддерживала дыхание. Классический прием. Однако есть певицы похитрее прочих, такие поют долго.

— А что они делают?

— Об этом я вам расскажу в следующую субботу.

В прихожей она отперла замок и отворила дверь. Я откланялся и направился к лифту, но она меня окликнула:

— Ах да, уточняю: перед следующим уроком займитесь любовью с кем-нибудь. Никаких одиноких упражнений!

Я в смущении обернулся. Она настойчиво повторила:

— Есть у вас кто-то под рукой? Я имею в виду подружку.

— Разумеется, — пробурчал я.

— Прекрасно!

Дверь захлопнулась.

На следующей неделе я хоть и действовал в соответствии с указаниями мадам Пылинской, но явился на урок в траурном настроении. Я винил ее во вторжении в мою жизнь. Обратившись к ней два месяца назад, я высказал простое желание: улучшить свою игру на фортепиано; с тех пор я собирал цветы на рассвете, вслушивался в тишину, изучал круги на воде, гипнотически завороженно вглядывался в трепет листвы, и вот теперь даже интимная близость должна была происходить по ее велению.

Накануне вечером, расставшись с девушкой, я пожалел о том, что поддался эксцентричной полячке. Нажимая кнопку звонка, я намеревался воспользоваться любым предлогом для того, чтобы отделаться от дальнейших уроков.

Открыв дверь, мадам Пылинска посмотрела на меня и, похоже, нюхом почуяла мое настроение. Не удостоив меня ни словом, ни приветственным кивком, она скрылась в коридоре, заставив меня последовать за ней в гостиную.

— Так вы будете играть сегодня или нет? — спросила она, побледнев, кусая губы.

— В самом-то деле!.. — ответствовал я, доведенный до крайности тем, что потрачено столько

денег, а я даже не коснулся клавиш «Плейеля».

— Прошу! — Она указала на банкетку.

Я выдал несколько пьес. Безмятежная мадам Пылинска вела себя как обычный педагог, выправляя аппликатуру, поясняя гармонии, следя за подвижностью моего запястья, заставляя играть от плеча, вглубь клавиатуры. Наконец-то! В ее почтительном внимании я узрел победу.

Через час с замыленным слухом и раскисшими мозгами я остановился.

Я протянул деньги, мадам Пылинска поблагодарила, положила банкноты на стол и проводила меня к выходу. На пороге она остановила меня.

— Довольны уроком? — спросила она с обеспокоенным видом.

— Очень.

— Вы вдоволь наигрались?

— Да.

— А как вам мои замечания?

— Все прекрасно.

Складки в уголках ее рта разгладились.

— На этом закончим. Больше не приходите.

— Что, простите?

— Если вам нравится такой тип педагогики, не стоит возвращаться. Я это ненавижу! У меня начинается мигрень, мне хочется выброситься в

окно. Жизнь слишком коротка, чтобы я заставляла себя терпеть эту скучищу.

— Но…

— Увидев, что вы готовы метать молнии и громы, я решила дать вам традиционный урок. Раз в год на меня находит такое желание. Но с возрастом на это просто не остается сил. Прощайте.

Она захлопнула дверь.

Час спустя я все еще не успокоился. Ведь это я, а не она должен был положить конец этим урокам! Моя гордость не могла смириться с поражением. Я праздно шатался по Люксембургскому саду; развалившись в металлическом кресле, я посматривал на детей, пускавших в пруду миниатюрные парусники, потом невольно засмотрелся на то, как ветер колышет кроны деревьев, метнул несколько камешков, оставляя круги на воде, склонился над цветами и… на меня снизошел мир.

Я понял.

Ближе к вечеру я позвонил по телефону мадам Пылинской, попросил прощения за свою вспыльчивость и умолял ее не отменять наши встречи.

— Я столько узнаю от вас, мадам Пылинска. И не только о Шопене. Не только о музыке. Я узнаю жизнь.

— То есть вы позволите мне вести занятия по моему методу?

— Конечно!

— Хорошо. Продолжим.

— О, спасибо! Громадное спасибо!

Голос ее смягчился:

— На самом деле нынче вы последовали моему совету… Вы выполнили порученное задание, я это почувствовала, ведь, несмотря на ваше бунтарское настроение, вы стали играть значительно более гибко.

— Тем лучше, — заметил я, ощущая неловкость.

— Вот задание на эту неделю…

— Я непременно выполню его, мадам Пылинска. — Я старательно выказывал рвение.

— Хм… А как ее зовут?

— Кого?

— Вашу подружку?

Не осмеливаясь засветить свою вольную жизнь, я назвал одну из знакомых девушек:

— Доминика.

— Ладно. Я понятия не имею, как вы общаетесь с Домиником, однако…

— Да?..

— Это не то, к чему я вас призывала… Мне ка-

жется, вы занимаетесь любовью, будто идете по тоннелю — нацеливаясь на выход. Вы стремитесь к… финальному фейерверку. Сказать по правде, я бы предпочла, чтобы вы ценили сам процесс. Понимаете? Конечная вспышка — это лишь дополнение, этакий бис… Улавливаете?

По моему молчанию она заключила, что я вник, и продолжила:

— Сосредоточьтесь на каждой секунде. Когда в следующий раз вы… будете резвиться с Доминикой, вспомните о каплях росы, о кругах на воде, о шелесте листвы, о голосе, что более хрупок, чем волосок…

— Хорошо.

— Вчера я прочла в газете, что обычные люди достигают оргазма за семь минут, но после соответствующих упражнений акт занимает у них в среднем двадцать минут. Итак, посвятите этому целый час.

— Как?

— Я полагаю, что вы получили соответствующую подготовку и, стало быть, вам удастся заниматься этим около часа. Слышите, около часа! Это необходимое условие!

— Благодарю вас, мадам Пылинска. До субботы?

— До субботы.

Положив трубку, я задумался, чего же я жду от этих занятий и почему на вопрос о подружке я назвал именно Доминику.

В субботу я явился на примирительный урок в радостном настроении, хотя неделя, проведенная с Доминикой, выдалась нелегкой — я так скрупулезно следовал наставлениям мадам Пылинской, что девушка все это время практически не покидала мою комнату в студенческом общежитии.

Я сел к роялю, телом и душой ощущая упоительную усталость.

— Начните с Колыбельной, — предложила мадам Пылинска.

Я медленно заиграл эту пьесу, пальцы мои были округлыми и бархатными; легкий и певучий звук рождался и умирал; мне удавалось все.

— Уже лучше, — заключила мадам Пылинска, — но вы прикладываете слишком много стараний. Если Бах, Моцарт или Бетховен требуют постоянной сосредоточенности, то Шопен нуждается в раскрепощенности. Расслабьтесь чуть больше. Вот как можно исполнить эти такты.

Она сменила меня за роялем, но, пока она растолковывала мне, как справиться с трудными местами, я с брезгливостью смотрел вверх:

паучок! Насекомое только что зависло над клавиатурой. Неужто за две недели мадам Пылинска ни разу не делала уборку в своей квартире? Может, она плохо видит?

Я решил вмешаться и, поднимаясь, сказал:

— Позвольте, я избавлю вас от этого паука!

Мадам Пылинска аж подпрыгнула:

— Нет, несчастный!

— Что?

Она понизила голос и, не сводя глаз с паучка, чтобы удостовериться, что он не слышит, шепнула мне на ухо:

— Сядьте рядом и продолжайте как ни в чем не бывало.

Она велела мне играть левой рукой, а сама наигрывала мелодию в верхнем регистре правой рукой и шептала, почти прижимаясь губами к моему затылку:

— Он спускается с потолка, как только я сажусь за рояль. Этот паучок без ума от музыки. В частности, от Шопена. Стоит мне заиграть Шопена, и паучок застывает над роялем. Он даже забывает о еде!

— Вы верите в то, что животные любят музыку?

Она пожала плечами:

— Разумеется, любят. Не все. Некоторые. Как и люди. Вы заметили, что мои нынешние кошки драпают в коридор, стоит мне открыть крышку рояля; у Горовица и Рубинштейна явно нет меломанской жилки. Нет, поразительной является сама дата его появления.

— Его появления?

— Паучок появился три дня спустя после кончины Альфреда Корто.

— Кота?

— И вел себя точно так, как Корто. — И она едва слышно добавила: — Вероятно, мой кот перевоплотился в паучка. Пусть он будет здесь сколько захочет, я считаю его своим гостем.

Со скептической улыбкой я переменил тему:

— Вы смотрели вчера по телевизору документальный фильм про международные фортепианные конкурсы?

— Увы, да… — пробурчала она.

— Как? Это вас не заинтересовало?

— Мне было интересно, пока они не взялись за Шопена, и тут начались лишь шопениады, шопинетки и шопиневски!

— Да, примерно в такой манере они и распинали Шопена, — подтвердил я.

— В такой манере? О нет! Вы, молодой человек,

несколько упрощаете дело! Ведь есть сотни способов заблуждаться, чтобы промахнуться со своим Шопеном. — И мадам Пылинска повернулась к роялю, чтобы изобразить посредственных пианистов. — Вот, к примеру, так. Женский вариант: у меня выходит такой хорошенький, причесанный, напудренный шопенчик, до того легкий, что он лишается силы, опоры, становится противно тепленьким. А вот вариант мужской: вскачь без седла, галопом, не пианист, а партизан, возомнивший себя фортепианным мачо. Вариант туберкулезный: вялый, со вздохами на каждом звуке, бесцветная игра. Темп? Бесконечные замедления, мелодия умирает, не дотянув до конца фразы. Вариант салонный: игривый покоритель сердец, белые перчатки, порхает и кружится в лаковых штиблетах, чтобы в погоне за эфемерной славой заслужить презрение великих. Шопен по-польски: яростный, воинственный, вызывающий; пальцы пианиста становятся оружием, произведения — знаменами, под которыми полки идут в смертельный бой против русских узурпаторов. Шопен по-французски: благодаря папе римскому, изяществу Парижа, роялям «Плейель» и «Гаво», моей возлюбленной Жорж я обрел изысканность Версальского дво-

ра. Шопен-изгнанник: скорбный странник, для которого весь мир чужбина, он пишет музыку, снедаемый ностальгией, вечным стремлением в неведомые дали. Сентиментальный Шопен: вам я готов отдать свое сердце, кровь, внутренности, пот, кишки, забыв стыдливость, я обнажаюсь, ни на секунду не задумываясь о том, что плоть отвратительна. Шопен глубокий: все всерьез, сомнения и страхи. Шопен под метроном: господа, повторяю вам: Шопен, гордый, прямой и строгий, любил Баха и Куперена! Все эти исполнительские манеры, неверные толкования и ошибки, исходящие от чемпионов шопеновских конкурсов, от его поклонников, я и сама порой использую с изрядным воодушевлением, но я не позволю, чтобы их мне преподносили другие!

Я с жаром аплодировал этим пародиям. Паучок, напуганный шумом, взмыл к потолку. Эта внезапная ретирада насекомого в глазах мадам Пылинской лишь подтвердила ее теорию.

Взглянув на меня, она поморщилась:

— Мне кажется, вы не верите в метемпсихоз, в переселение душ.

— Мне нечего сказать ни за, ни против, я об этом ничего не знаю.

— Да никто ничего не знает, вот почему я ис-

пользую глагол «верить». Вы в это верите?

— Ммм…

— Лично я верю. Но меня заботит другой вопрос, который не сводится к возможности переселения моего кота в паучье тельце, нет, я, скорее, пытаюсь понять, чьей реинкарнацией был мой Альфред Корто. — Подумав, она добавила: — Именно поэтому в последние пятнадцать лет меня бьет дрожь, когда я сажусь за рояль, и это тяготит куда больше, чем если бы зал заполнила тысяча слушателей. Быть может, здесь пребывает душа, которая постигла музыку куда глубже, чем я, она следит за мной, оценивает то, что я делаю. Не правда ли, жутко?

Уже нажав кнопку вызова лифта, я в задумчивости пробормотал:

— Мадам Пылинска, а в чем же тайна Шопена?

— Есть тайны, которые должны оставаться тайнами, — ответила она. — То, что тайны существуют, делает нас лучше. — Помолчав, она заметила: — А вы явно продвинулись вперед… и все же вам еще есть куда расти….

— Скажите, что делать дальше.

— Меня кое-что смущает. Ваша подружка… как там ее зовут?

— Доминика.

— Ах да, Доминика! Смотрите ей в глаза.

— Не понял.

— Смотрите ей в глаза, когда занимаетесь любовью.

Через неделю в двери мадам Пылинской трезвонил совершенно новый человек, потому что меня настиг катаклизм: я влюбился.

Ночь за ночью, день за днем глядя в ореховые глаза Доминики, я видел темный колодец, пылающий и таинственный, куда жаждал погрузиться каждый час, каждую минуту, каждый миг. Нетвердо стоя на ногах, пошатываясь, я томился по ней, по ее присутствию, телу, смеху, говору.

И все это из-за мадам Пылинской, или благодаря ей, поскольку я по временам колебался, назвать ли мое революционное превращение падением или же вознесением. Впервые моя любовная и сексуальная жизнь сомкнулись на одной персоне. До прибытия в Париж я знал лишь платонические страсти, лишенные взаимности, осложненные пубертатом, когда я на разрыв аорты оплакивал неудачи. Потом, обосновавшись на улице Ульм, я предался плотским радостям, не осложненным взаимными обязательствами. Ныне при виде Доминики я утрачивал иллюзию контроля, характерного для либертенов, я боль-

ше не властвовал над собственными эмоциями; новое широкое и сильное чувство наводняло меня, побуждая уступить.

Едва я заиграл, мадам Пылинска улыбнулась, веки ее затрепетали.

— Рада за вас, — выдохнула она.

Руки мои зависли над клавиатурой.

— Только не говорите, что я хорошо играю, потому что влюблен! — воскликнул я.

— Вы играете прелестно, потому что забываете о себе. Вы отдаетесь музыке, так же как отдаетесь любви. Теперь вы готовы мгновенно заключить союз с каждой нотой, каждой модуляцией; вы не одергиваете себя, не фильтруете чувства.

Она опустилась на пуфик, где прежде леживал Альфред Корто, и закурила сигарету.

— Если нужно влюбиться, чтобы играть необыкновенно хорошо, то удастся ли мне это теперь? Я уже давно не влюблялась… Нет, я выбрала путь, о котором в прошлый раз рассказывала вам, говоря о более хитрых певицах, чем Магдалена, — та бедняжка, обеспечивавшая свои верхние ноты за счет оргазма. Хитроумные певицы, сделавшие выдающуюся карьеру, — как они добивались эластичности своей диафрагмы? За счет воспоминаний… они хранили в памяти прежние

ощущения и при необходимости пользовались этим. Я во время исполнения применяла тот же метод: откапывала воспоминание о минувшей любви и позволяла ему пьянить меня. Это так восхитительно.

Успокоившись, я продолжил играть. Паучок покинул потолок и вновь завис на своей нити. Мадам Пылинска взглядом указала мне на насекомое, шепнула:

— Он впервые так реагирует на вас!

Послушать ее, так отношение представителя паучьего семейства являлось неопровержимым доказательством моих успехов. Развеселившись, я заиграл прелюдию, старательно выделяя мелодию. Мадам Пылинска недовольно выкрикнула, заглушая мои звуки:

— Линия! Линия! Мне нужна линия!

Я продолжил играть, не понимая, чего она требует, какую линию?! Где она?

— Какую такую линию? — спросил я, поддавая жару.

— Стоп! — покраснев, воскликнула она.

Мадам Пылинска озадаченно уставилась на меня, потом встала и, помедлив, в раздражении принялась расхаживать по кругу.

— Мелодия должна разворачиваться, как лен-

та. Да, мне известно, что звуки на фортепиано извлекаются покрытыми фетром молоточками, которые ударяют по струнам, то есть изначально это ударный инструмент, но вы не должны превращать его в барабан! Вы стучите, а не поете. У вас один удар следует за другим.

Она направилась к проигрывателю.

— Послушаем Каллас.

— Мадам, но я пришел учиться игре на фортепиано!

— Именно поэтому мы и послушаем Марию Каллас.

— Но я уже слышал Каллас!

— Вот как! А незаметно.

Пожав плечами, я смирился с ее причудой.

Мадам Пылинска опустила на пластинку сапфировый звукосниматель. Забулькали акустические колонки, потом откуда-то из глубины донесся шум, который следовало расценить как тишину зала. Оркестр заиграл вступление, замурлыкала флейта, и в комнате раздался голос Марии Каллас. «Casta Diva»[31]. Певица возникла из про-

---

[31] Примечания: 31

«*Casta Diva*» — каватина Нормы из одноименной оперы Винченцо Беллини (1831), одна из наиболее знаменитых и сложных для исполнения итальянских арий для сопрано. Непревзойденной исполнительницей партии Нормы была Мария Каллас, любившая повторять, что Беллина написал эту оперу специально для нее.

игрывателя, чтобы завладеть нашим вниманием, она возвышалась над звучащими колонками — пылающая, полная силы, трепещущая. Почти внушающая страх.

— Вы заметили ее присутствие? — шепотом спросила мадам Пылинска.

— Невероятно! Но как ей это удается?

— Каллас появляется не как певица, а как персонаж. В опере у героини есть веская причина, чтобы выскочить на сцену натянутой, как тетива лука, ей есть что делать и что сказать. Ее присутствие — результат полноты переживания, превращенного в высказывание. Тем, кто не наполнен смыслом, никогда не удастся создать даже минимальную видимость присутствия. Я знавала одну актрису с очень впечатляющей внешностью, но я, пожалуй, помолчу… из христианского милосердия!

Ария длилась — чувственная, дивно человечная, напоминающая графический рисунок; дыхание Каллас превращалось в карандашную линию, вычерчивавшую арабески на странице тишины.

Пару раз звучание мне показалось резким. Раз или два я решил, что ее нижний регистр тяжеловат, а верха слегка форсированы. Пару раз мне

показалось, что отзвякивают стекляшки люстры.

— Это не всегда красиво, — заметил я.

— Это редко красиво, зато всегда правдиво. Есть голоса прекраснее, но нет более великой певицы. Инструмент значит меньше, чем то, что из него извлекают. Поначалу голос Каллас напоминал густую патоку, темную, плотную и тяжелую массу, которую ей пришлось очищать, рафинировать и смягчать. Ах, бывают же чудеса! Она пела, как жирный слепец!

— Вы о чем?

— Этакий борец сумо в очках.

— О-о!

— Как, вы не видели фотографии молодой Каллас? Просто мамонт в бинокулярных очках!

— Мадам Пылинска!!!

— В двадцать восемь лет Каллас весила добрый центнер и даже не могла разглядеть дирижера в оркестровой яме. Вот почему она пела поистине совершенно. Посылая свои звуки во тьму — то есть всему залу, эта толстуха сияла, обволакивая публику своим голосом. После, когда она похудела, то стала выглядеть великолепно. В туше кита скрылась Венера. Увы, это повлекло за собой катастрофу, роковой спуск…

— Диета испортила ее голос?

— Нет, разрушила душу. Тоненькая, стройная, с изящными формами, теперь она могла чаровать по-иному. Соперничество с лучшими манекенщицами мира затмило в ней актрису, та оказалась более не нужна. Некрасивая Каллас пела божественно, великолепная Каллас делала это все реже и реже. Ей стало не хватать самой себя.

Мадам Пылинска остановила пластинку. Мария Каллас и оркестр «Ла Скала» исчезли.

— Не стоит говорить об опасности диет, — заметила она.

— Так может, она благодаря этому расцвела? — предположил я.

— Что за шутка! В конце жизни она стала тощей, сухощавой затворницей, она умирала от скуки в своем доме на авеню Жоржа Манделя в Шестнадцатом округе. Она была создана гусеницей, а не бабочкой.

Мадам Пылинска вложила пластинку в конверт с изображенным на нем дивным лицом.

— Слава поздней Каллас — это колоссальное недоразумение. Мы созерцаем фото богини, а слышим подслеповатого морского котика, — изрекла она.

Она указала на клавиши «Плейеля»:

— Быстро за рояль! Играя шопеновские мело-

дии, подражайте Каллас, ведь Шопен, обосновавшись в Париже, проводил вечера в Опере, наслаждаясь искусством оперных див и теноров, исполняющих Россини, Доницетти и Беллини.

Я вновь заиграл прелюдию, сосредоточив внимание на кантилене. Мадам Пылинска опять вмешалась:

— А вы одновременно пойте.

Я запел мелодию, дублируя фортепиано. Мадам Пылинска заметила:

— Вы поете, а думаете совсем о другом. И вы не дышите.

Она была права. Я пел вполголоса, задерживая дыхание. Мадам Пылинска постучала по крышке рояля.

— Стоп! — Она смотрела на меня, сердито хмуря брови. — Разве можно так петь с вашей грудной клеткой. Смотрите: это не грудная клетка, а целый шкаф. Ваши плечи в два раза шире моих. Какой у вас обхват груди?

Вообще-то, прежде я бы не нашелся что ответить на этот вопрос, но поскольку недавно проходил медосмотр для военной подготовки, то со спесивой гордостью выпалил:

— Один метр пятнадцать сантиметров! У меня обхват груди метр пятнадцать!

— Ай!!! Метр пятнадцать!.. Вам так легко заполнить легкие, что вы не управляете своим дыханием. Подождите минутку.

Она скрылась в темном коридоре, и я услышал, как она открывает ящики, хлопает дверцами шкафов; наконец она появилась, вооруженная ножницами и клейкой лентой, которой обматывают коробки при переезде.

— Прислонитесь к стене. Здесь. Спиной. — Она прижала меня к перегородке. — Не двигайтесь, смотрите на меня и сожмите губы.

Быстрым, безошибочно точным движением она заклеила мне рот куском скотча.

— Хоп!

Ошеломленный, я не сразу сообразил, что мне заткнули рот.

— А теперь пойте!

Я с немым вопросом возмущенно сверкнул глазами.

Она настойчиво повторила:

— Пойте! Я создала препятствие, чтобы вы уразумели, что значит дышать и петь. Ну же! «Casta Diva», пожалуйста.

Я покорно затянул мелодию, почти завывая, но через несколько тактов она зазвучала увереннее. Мадам Пылинска нажала кулаком где-то под мо-

ей грудиной, и мне показалось, что я задыхаюсь.

— Пойте! Пойте! *In argenti*…[32]

Если бы я мог выговаривать слова, то выкрикнул бы, что меня сейчас стошнит, так сильно она надавила мне на желудок, но мадам Пылинска, одержимая своей идеей, размечала музыкальные фразы нажатиями. Сопротивляясь этому давлению, я выпевал мелодию на «а-а-а» без согласных; чем дальше, тем отчетливее я осознавал свое дыхание, тембр, ритмические длительности, изгибы фраз, акценты, долгие ноты, задержания, мелизмы и долгие форшлаги. Признаюсь, несмотря на дискомфорт, мне это понравилось; мое тело превратилось в музыкальный инструмент, в кларнет с богатым тембром, который до сих пор из-за моей лени был скрыт от меня.

На последней ноте мадам Пылинска ослабила давление:

— Теперь играйте. Вы уловили линию. За рояль, *presto*!

Все еще с заклеенным ртом, я сел за инструмент и вновь принялся за ноктюрн. Благодаря преды-

---

[32] Примечания: 32

Casta Diva, che in argenti/ queste sacre antiche piante, /a noi volgi il bel sembiante / senza nube e senza vel… — О, пречистая Богиня, серебрящая / Эти древние священные деревья, / Обрати к нам лик прекрасный, / Без туч и без вуали (*ит.*).

дущему опыту и новым ощущениям мелодия растекалась под моими пальцами, превращаясь в мягкую гибкую линию, которая членилась на отрезки и вновь становилась цельной, вибрирующей, пластичной.

— Ну наконец-то! — выдохнула мадам Пылинска, утратив прежний пыл. — Нужно играть более естественно. Вы слишком вслушиваетесь в свое исполнение, а когда вы себя слушаете, я перестаю вас слышать.

Я сорвал клейкую ленту и, потупившись, улыбнулся. Мадам Пылинска в заключение добавила:

— Шопен родился хилым, он даже не дышал, позже в молодости страдал от туберкулеза. Впоследствии он весил менее пятидесяти килограммов при росте метр семьдесят. Тростинка… с самого отрочества он кашлял, страдал одышкой, задыхался, харкал кровью. Характерно, что в Опере он любил подпевать Малибран[33], она была тогдашней Каллас. Вернувшись домой, он вновь пел, но не голосом, бедняга, а на фортепиано.

Сыграв полонез, я уже на пороге спросил:

---

[33] Примечания: 33

Мария Малибран (урожд. Гарсия; 1808–1836) — одна из самых блестящих певиц (меццо-сопрано) XIX века. Обладала голосом исключительной силы и очень широкого диапазона (от соль малой октавы до ми третьей октавы), виртуозной вокальной техникой, дарованием драматической актрисы.

— Какие будут рекомендации на эту неделю? Что мне делать?

— Единственный совет: размышляйте.

— О чем?

— О двери. Узкой двери. Единственной. Той, что ведет туда, куда вы жаждете проникнуть.

— Не понимаю.

— Шопен избрал дверь музыки. Каллас — пения. А ваша дверь — куда ведет она?

— Мадам Пылинска, но разве существует лишь одна дверь?

— Если хочешь достичь совершенства, то лишь одна.

Когда дверцы лифта уже закрылись, я услышал, как мадам Пылинска проворковала:

— Привет мадемуазель Доминике!

Меня потревожил телефонный звонок. Бабушка, поколебавшись, решила все же сообщить мне: Эме в больнице. У нее рак.

— Рак носа! — воскликнула она. — Я понятия не имела, что существует рак носа. А ты? У Эме вечно все не так, как у всех! — Почувствовав, что отклонилась от темы, бабушка добавила плаксивым тоном: — Она отказывается принимать посетителей. Представляешь? Она запретила нам появляться в больнице. И все из-за носа! Уверяет,

что операция ее обезобразила, и она не хочет, чтобы ее видели такой. Я дважды приходила в онкологическое отделение: меня выставили вон! Меня! Даже с чужими людьми так не поступают!

Она разрыдалась. Я не понимал, оплакивает ли она собственную участь или Эме.

— Когда ее выпишут?

— Никогда! Врачи высказались категорично. Несмотря на операцию и лечение, у нее нет шансов выздороветь.

— Но…

— Она это понимает. Вчера она позвонила мне, все рассказала, твердила, что более никогда нас не увидит. До самой смерти.

Потом бабушка пустилась в воспоминания об их детстве, летних каникулах, о дружбе, связывавшей их отцов, о поездках в Ниццу, в Монако; теперь она говорила об Эме нежно, растроганная ее погубленной молодостью и ушедшими годами; она описывала какие-то сцены, при которых Эме лишь присутствовала. Под предлогом семинара по эпистемологии я закончил разговор.

Повесив трубку, я снова погрузился в свои мысли. Эме, смелая, твердая, невероятно сдержанная, всю свою жизнь провела в одиночестве! Какое достоинство! И даже теперь, уязвимая, ослаблен-

ная болезнью, она отстраняла других от своей частной жизни.

Я должен был повидать ее. Скорее. Как можно скорее! Но возможно ли это? Вспомнив о бабушкиных сетованиях, я заподозрил, что Эме, вероятно, ввела этот запрет лишь для нее, просто чтобы избежать назойливого сострадания.

Я позвонил родителям, те подтвердили, что Эме действительно никого не хочет видеть. Потом я связался с тетей Жозетт, которую Эме нередко навещала, и та призналась, что и ей медсестры не разрешают пройти в палату.

Но ведь ко мне Эме относилась по-другому, она доверила мне рассказ о своей истинной жизни!

В субботу, вместо того чтобы пойти на урок фортепиано, я отправился в Лион, где Эме доживала последние дни.

На невысоком холме расположилась клиника «Мимоза» — низкое и длинное здание, покрытое желтовато-охристой штукатуркой. Зеленые газоны и цветущие кустарники, общий добродушный, спокойный вид — все это составляло резкий контраст той смертельной агонии, что нашла приют в клинике.

В приемной я представился и назвал имя Эме. Улыбка на устах пухлой дамы, уроженки Марти-

ники, поблекла.

— Мадам Буффаван? О, простите… Она дала указание: никаких посещений.

— Разве она не составила список?

— Нет. Ни списка тех, кого она отказывается видеть, ни списка тех, кого она готова принять.

— Я ее любимый племянник.

— Мне очень жаль.

— На самом деле я не знаю, может, это и не так. Но должен сказать, что это моя любимая тетя.

— Еще раз извините. Мисс Буффаван не желает общения, и мы все должны уважать ее желания.

Молодая женщина покраснела, она чуть не сказала «последние желания». Пытаясь мне чем-то помочь, она оглядела свой стол, нашла блокнот и протянула мне.

— Напишите записку, мы ей передадим.

— Сейчас?

— Нет, в девятнадцать часов, когда подадим ужин.

— Очень поздно, слишком поздно. Пожалуйста, сообщите ей о моем приходе.

— Мы получили совершенно определенные указания: никого не допускать к ней и не беспокоить ее сообщениями.

— Но я приехал из Парижа!

— Молодой человек, поверьте, я понимаю ваше разочарование, — добродушно сказала она.

Со вздохом я схватил блокнот, устроился на пластиковом стуле среди цветочных горшков, обуянный гневом и нежностью.

Я приехал повидать тебя. Что бы ты ни решила, я подчинюсь, но знай, я здесь. И я люблю тебя.

Эрик-Эмманюэль

P. S. Я пробуду в Лионе до завтра.

Я сложил страницу, вручил ее медсестре, которая с печальной улыбкой поблагодарила меня, потом я снова спустился по ступенькам, понурившись, волоча ноги, двигаясь по аллее, что вела к выходу. Но через несколько метров я небрежно двинулся налево, решив во что бы то ни стало увидеть Эме. Обходя здание, я всматривался в окна второго и третьего этажа. «Поди знай, вдруг я найду ее… Или, может, Эме покажется в окне…»

Увы, я дважды безрезультатно обошел клинику: либо окна были наглухо занавешены, либо же палаты были пусты.

Обескураженный, я опустился на каменную

скамью возле широкого оконного проема, выложенного старомодной мелкой плиткой.

На моих глазах в небе неспешно прорезался солнечный луч, мягко осветивший лионские холмы.

Усталый, подавленный, я уже ни о чем не думал, ничего не чувствовал; эта клиника, нелепый парк, моя поездка, привязанность, которую я питал к тете, — все казалось мне бессмысленным и бесцветным.

Даже сама жизнь Эме, которой предстояло угаснуть здесь…

Кажется, я предпочел бы гнев этой навалившейся на меня праздной вялости! К чему все это? — вот единственные слова, мелькавшие в пустоте моего сознания. К чему все это? Все земное утратило соль, краски, вкус и запах…

Меня насторожил тихий шорох.

Обернувшись, я увидел кошку, впрыгнувшую в разбитое окно. Привлеченный движением этой крошечной жизни, я встал, провожая ее взглядом. Полосатая зверюшка шмыгнула в просторный бальный зал, на этом паркете некогда явно танцевали, тогда как подиум между двумя занавесями цвета хаки, должно быть, служил сценой. На стенах на месте старых афиш остались светлые

прямоугольники, окруженные окантовкой.

Кошка задела чугунный радиатор, вспрыгнула на него, пробежалась поверху, а затем вскочила на фортепиано.

Я не поверил своим глазам: в тени стоял «Шидмайер», прямострунный инструмент моего детства, совершенно такой, как тот, что был у моих родителей.

Я не колебался. Проведя рукой по выбитому квадратику окна, куда проникла кошка, я нащупал задвижку, открыл створку и проскользнул в обветшалый зал.

Напуганный моим вторжением котяра спрятался за занавесом.

Я направился к фортепиано, взволнованный этим возвращением в прошлое.

Я подошел к пианино, двигаясь так, словно я иду сквозь время. Грязно-коричневый, испещренный жирными пятнами, с потертыми клавишами слоновой кости, «Шидмайер» царил в центре комнаты. Не вторгшийся сюда самозванец, а алтарь.

Я уселся за фортепиано. Оно было даже старше нашего домашнего инструмента. Опустошенный, изнуренный, утративший вкус к жизни, я сидел перед ним, вспоминая Эме и то подаренное ею на мой девятый день рождения озарение. Так этому

тоже суждено превратиться в пыль?

Я пристально смотрел на фортепиано. Мне хотелось что-то доказать себе. Я взял аккорд, еще один. Инструмент послушно откликнулся. Я сел поудобнее и заиграл Ларгетто из Второго концерта Шопена.

Мелодия, ангельская мелодия, гибкая, серебристая, четкая, легкая, одновременно сладостная и сияющая, выпорхнула из старинного «Шидмайера». Взмыв к закопченному потолку, она превратилась в молитву. Молитву, которая ничего не требовала, молитву, и не предполагавшую ничего требовать, которая принимала, благодарила, несла в себе благодать.

Никогда я не играл так. Я достиг берегов материка Шопена с его текучими басами, брызгами мелодий, завихрениями пены, приливами и отливами, это очевидно. Все, чему меня учила мадам Пылинска, тишина, круги на воде, роса, колыхание веток на гибком стволе, непринужденность, хрупкие, почти ломкие мотивы, что длятся до бесконечности, — все наконец сошлось. Звуки возникали, будто это была импровизация; я брел вдаль, это не было исполнением заученной пьесы, я даже не знал заранее, что собираюсь сказать. Музыкальные фразы, что выговаривали мои

пальцы, изливались спонтанно и простодушно; сердце ошеломленно билось, стремясь, однако, сохранить волшебный изумленный трепет. Мне казалось, будто ко мне снизошел дух Шопена.

За спиной скрипнула дверь. Сейчас какая-нибудь сиделка попросит меня освободить помещение… Не желая разрушить упоение момента, я продолжал играть в надежде, что музыка смягчит административный пыл.

— Не оглядывайся, — шепнул мне кто-то.

Мне показалось, что я узнаю голос, точнее, слышу в ином тембре знакомые интонации.

— Это ты, Эме?

— Ради бога, не оборачивайся.

— Клянусь, не буду.

— Спасибо…

— Это ты!

— Я услышала тебя из своей палаты — она прямо над залом… Обычно этот инструмент открываю только я. Какой подарок ты преподнес мне! Играй же! Играй еще!

Я играл, на седьмом небе от счастья, понимая, что волнения последних месяцев слились в стремлении к одной цели — жить здесь и сейчас.

Стих последний аккорд, но еще минуту длилось волшебство Шопена.

— Ты хорошо играешь, Эрик.

— Это впервые…

Она непроизвольно рассмеялась.

— К счастью, у меня был Шопен! — воскликнула она. — Без него я бы не выжила.

— Объясни почему, — шепнул я.

— Роже жил со своей женой. Я проводила больше времени, поджидая его, чем вместе с ним. Роже часто говорил о своих сыновьях, о дочке, но их я знала лишь по снимкам, которые он носил с собой в бумажнике. Вот и краткий итог моей жизни: дети на фото, любовник, живущий с другой. Столько лишений. Но у меня был Шопен!

— Он утешал тебя?

— Никоим образом! Утешать — значит заставлять смириться с обманом; нет, Шопен дарил мне свободу. Благодаря ему я жила полной жизнью, жизнью, где всегда билось сердце, полной эмоций, страстей, смятений, полной нежности, экстаза, изумления, внутренней убежденности, лиризма. Когда я скучала по Роже, когда нуждалась в нежности, Шопен восполнял это. Когда Роже не было рядом, а мне хотелось сказать ему о моей любви, об этом говорил Шопен. Когда Роже не было рядом, а мне хотелось отругать его, и это исполнял Шопен. По сути, если Роже жил

двойной жизнью, то и я тоже! С Роже у меня была довольно скудная жизнь, а с Шопеном настолько насыщенная, что она дополняла первую, оправдывала ее, обогащала. Я постоянно волновалась, вдруг Роже заподозрит хоть на миг, что Шопен приходил к нему на помощь?

— Виртуальное существование…

— Идеальное существование, где все было превосходно, даже страдание. Видишь ли, Эрик, я могла наслаждаться печалью, ведь Шопен внушал мне, что она столь же приятна, сколь необходима. Даже отчаяние звучало прекрасно. — Она вздохнула, потрясенная своим признанием. — Он позволил мне жить в другом мире — мире, где расцветают чувства, полном пламенных речей, горячности, восторга, блаженства, в мире, где нет ни расчетов, ни рациональности, ни благоразумия или прагматизма. И это не утопия, нет! Мир, который мне открылся, был не отступлением, а скорее увертюрой. Вот что предлагает Шопен: пространство любви. Нужно любить то, из чего состоит жизнь, даже хаос, страхи, тревоги, смятение. Это делает прекрасным то, что таковым не было, и привносит накал в то, что было прекрасным. Этот мир не предоставляет убежища, но заставляет нас стремиться к ясности,

пробуждая мудрость приятия и усиливая наше желание оставаться людьми. Благодаря Шопену моя жизнь удалась. Кстати, ты заметил синицу на подоконнике?

Осторожно, медленно, чтобы не спугнуть синицу, я повернул голову и увидел прелестную птичку, плотную, пушистую, с антрацитово-черными и желто-зелеными перышками.

— В детстве в деревне говорили, что синица — это наша смерть, она приходит навестить нас, узнать, что у нас нового.

— Великолепная легенда.

— Не легенда, а знание предков. Играй и следи за ее реакцией.

При первых звуках концерта птица застыла, вслушиваясь.

— Роже обычно слушал меня, склонив голову влево. И эта синица — стоит мне выйти из палаты, чтобы поиграть здесь на фортепиано, — устраивается на плашке оконного переплета и наклоняет головку влево.

Я остановился, чтобы взглянуть на птичку.

— Ты думаешь, что это он?

Синица, спугнутая тем, что музыка стихла, быстро соскочила с окна, перелетела на лужайку и, отыскав зернышко, склевала его.

Эме уточнила:

— Даже если это и Роже, то он все же остается синицей.

Мы рассмеялись.

— Эме, мне хочется обнять тебя.

— Мне тоже хотелось бы этого, Эрик, но я все же хочу, чтобы ты помнил меня прежней.

— Ты чуждаешься меня.

— Ты никогда не будешь чужим, ведь я открыла тебе тайну Шопена.

* * *

Нынче утром я проснулся с радостным сердцем, радость возникла сама собой, как солнце, что осветило сад, где играли три мои собаки.

С тех пор как умерла Эме, прошло тридцать лет.

Прибыв на урок к мадам Пылинской, я рассказал ей о встрече с тетей Эме и о том, каким изумительным у меня получился Шопен.

— Это было в первый раз, — твердил я.

— И, быть может, в последний, — заметила она.

Увы, она была права, за все месяцы, что продолжалось мое обучение, мне так и не удалось

достичь этой ясности. Шопен вновь ускользнул от меня.

Настал день, когда мадам Пылинска торжественно сообщила мне, что покидает Францию и возвращается в Варшаву.

— Хватит Шопена, пора соприкоснуться с реальностью.

— И это говорите вы?

— Именно. Шопен бежал из Польши в тысяча восемьсот тридцатом, как раз перед началом восстания против русских. И поскольку Польша больше не значилась на карте с тысяча семьсот девяносто пятого года — когда ее территорию поделили между тремя странами, — музыка Шопена стала символом польской нации. И целое столетие слово «Польша» означало «Шопен». В девятьсот восемнадцатом она снова стала Польшей, но ненадолго, так как нацисты вторглись в страну и запретили Шопена. За то, что ты слушал шопеновский ноктюрн, можно было угодить в тюрьму. По воскресеньям после обеда мы тайно собирались у кого-нибудь на квартире, чтобы через музыку вновь обрести свою поруганную отчизну. После войны на нас обрушился коммунизм — новая русская чума, имеющая, впрочем, немецкое происхождение… Ныне я чувствую,

что реальное положение дел меняется, или, скорее, оно должно наконец слиться с реальностью Шопена. Польша пробуждается. Я отправляюсь туда.

— Мне будет не хватать вас.

— Понимаю. Мне бы даже хотелось, чтобы вы были безутешны, это польстило бы моему тщеславию. А между тем я вам больше не нужна.

— Но Шопен мне не слишком удается.

— Да!

— Только однажды…

— Именно. Лишь раз, по неотложной надобности, когда возникла настоятельная необходимость, — в тот единственный раз открылась правильная дверь.

— Дверь?

— Вы хорошо играете Шопена и будете его играть. Но не на фортепиано.

— То есть?

— Потому что вы нашли ту дверь. Единственную дверь. Узкую.

— О чем вы?

— Дверь, через которую вы откроете вселенную и расскажете о ней.

— Что?

— Вы ведь пишете, не так ли? — Она смерила

меня взглядом.

Я осекся. Но как она догадалась? Я ведь от всех скрывал, что дни и ночи напролет пишу пьесы, рассказы, романы. Губы мои дрогнули. Мадам Пылинска, побледнев, поправила свой гранатовый тюрбан и сочувственно сжала мои руки:

— Пиши! Всегда пиши, думая о том, чему тебя научил Шопен. Пиши за закрытыми дверями, тихо, не надо обращаться к толпам. Говори только со мной, с ним, с ней. Оставайся среди близких тебе людей. Не выходи за пределы дружеского круга. Тот, кто творит, делает это не для масс, он говорит с человеком. Шопен — это одиночество, которое взывает к другому одиночеству. Следуй его примеру. Пожалуйста, пиши не затем, чтобы прогреметь, лучше пиши, чтобы создать тишину. Сосредоточься на своем собеседнике, предложи ему вникнуть в подробности. Самые прекрасные звуки отнюдь не самые громкие, но самые нежные.

Она подтолкнула меня к выходу.

— А теперь обойдемся без прощальных сцен, не нужно поцелуев и объятий, всех этих противных романических сентиментальных побрякушек. Я провожу тебя до лифта.

Остановившись на пороге, я спросил:

— Сколько я вам должен, мадам Пылинска?

— Нисколько. Я никогда не беру денег за последний урок.

— Почему?

— Потому что единственная цель последнего урока — это подтолкнуть ученика к чему-то новому. Я тебя подтолкнула?

Мадам Пылинска была права. Вот уже тридцать лет я пишу.

Я пишу, срывая полевые цветы, чтобы на них сохранились капли росы. Пишу, создавая круги на воде, наблюдая за рождением волн и их исчезновением. Пишу, как дерево склоняется под ветром: ствол-основа — прочный интеллект, а колыхание листвы — сменяющие друг друга чувства. Пишу с чувством блаженства и расслабленности после любви, вглядываясь в глаза своих персонажей. И я стремлюсь жить, ощущая каждую секунду, пробуя мелодию дней, упиваясь каждой нотой.

В прошлом году я побывал в Польше, свободной Польше, освобожденной от коммунистической стены, как и предвидела мадам Пылинска. На официальном приеме, когда мне присвоили звание «Посланец чтения», потому что многим людям в Польше дороги мои книги, пожилая женщина метнулась к эстраде, где я только что

произнес благодарственную речь.

— Жорж Санд! Я так и знала, что ты склонишься на сторону Жорж Санд! Бедняга! Но в конце концов, это лучше, чем ничего.

Мадам Пылинска, как всегда категоричная, живая, царственная, чуть более усохшая и морщинистая, распахнула свои объятия, необычный для нее жест, и я кинулся к ней. Нас обступили озадаченные журналисты и фотографы, пытаясь запечатлеть событие и понять охватившую нас эйфорию.

Я с гордостью пояснил, что мадам Пылинска давала мне уроки игры на фортепиано в Париже тридцать лет назад. Репортеры национального телевидения бросились к ней с расспросами.

— Вы довольны своим учеником? Вы воспитали выдающегося пианиста?

— У него была беглость пальцев и желание учиться.

— Он хорошо играл?

— Трогательно было видеть у этого молодого человека такое желание играть, отдать дань почтения тому, что выше его, что останется для него недостижимым. Конечно, если рассматривать его игру, не беря во внимание заслуги, то понимаешь, что… нет, пожалуй, помолчу: из христианского

милосердия!

Два месяца спустя мадам Пылинска умерла.

Этим утром я, опершись на подоконник, созерцаю природу, которая не ведает траура, а знает только жизнь. Под голубым небом новый, прозрачный, как будто промытый сад играет мне Баркаролу, под веселым бризом чуть колышутся лилии, шуршащая, игривая сирень, мудрый и мощный дуб.

Я спускаюсь в гостиную и открываю рояль. Сразу прибегают мои собаки; ласково обнюхав мои ладони, они устраиваются под роялем, как когда-то в детстве делал Шопен, чтобы слышать, как играет мать. Они с трепетом замирают.

Я начинаю шопеновскую Баркаролу… Воцаряется покой.

Музыка открывает мне путь к удивлению. Время не движется больше, оно пульсирует. Меня уже не тяготит медленный темп, я наслаждаюсь им. Все становится чудом. Я в восторге, меня пронизывает восхищение.

Слева я ощущаю легкий трепет. Исподтишка смотрю, что там.

На деревянную створку открытого окна села какая-то пташка. Я не смею в это поверить: при сером оперении на головке у этой синицы

пятнышко гранатового цвета, напоминающее тюрбан, а в клюве она держит веточку, будто это сигарета в мундштуке.

Я смеюсь. Может, и правда то, что говорят о синицах?

В волнении я пропускаю ноту, потом другую, мажу аккорд, наконец снимаю руки с клавиатуры и оборачиваюсь.

Синица стремительно взмывает в небо, эта непоседа кружится, поколебавшись, возвращается, застывает на створке окна, и вдруг из-под ее хвостика — под воздействием утра или радости? — вылетает в мою сторону узкая, медового оттенка струйка, капля попадает мне на веко, и… нет, я лучше помолчу: из христианского милосердия.

Миларепа

Все началось с удивительного сна.

Высокие горы… Какое-то строение на скалах, красное, приглушенно-красное, цвета заходящего солнца; чуть пониже собачьи трупы, гниющие в рое мух… Ветер пригибает меня к земле. Но я прочно держусь на ногах и сам себе кажусь очень высоким, гораздо выше, чем на самом деле, а тело у меня исхудавшее и сухое, как крыло бабочки. Это мое тело — и в то же время не мое. У меня в крови кипит ненависть, она заставляет меня искать в горах какого-то человека, которого я хочу ударить палкой, чтобы убить; ненависть, кипящее черное молоко, настолько сильна, что в конце концов выливается наружу и будит меня.

Я один, никого больше нет, в своей постели, в своей комнате на Монмартре, под парижским небом.

Занятный сон.

Он повторяется снова.

Откуда берутся сны?

И почему этот обрушился именно на меня?

Каждую ночь я оказывался на длинных камени-

стых тропах — с той же жаждой мести в сердце. И опять эти собачьи трупы, и палка в руке, ищущая человека, которого должна уложить насмерть.

Мне становилось страшно. Обычно сны, появившись, затем исчезают. Но этот не желал уходить! Словно моя жизнь теперь протекала в двух четко обозначенных мирах: здесь, в Париже, в дневном мире, среди привычной мебели, привычных людей, в одном и том же городе, и там — но где там? — в мире высоких гор, где я хотел убить человека. Если сны повторяются, как не поверить, что в них ты живешь второй жизнью. Какая дверь отворялась мне ночью?

Ответ я получил через два года. И дала его незнакомая женщина.

Она была какая-то нечеткая, как дым ее сигареты; она сидела в глубине зала в кафе, где я обычно завтракал. Одна за столом, ее взгляд терялся в клубящихся вокруг нее завитках дыма. Я жевал свой круассан и смотрел на нее, просто так, без всякой задней мысли, как смотришь на людей, которые тебя непонятно чем привлекли.

Женщина встала, подошла к моему столику и уселась напротив. Взяла у меня круассан и доела его. Это получилось так естественно, что я даже ничего не сказал. Она посмотрела мне прямо в

глаза и произнесла:

— Ты Свастика[34]. Ты — его дядя, тот, из-за которого все произошло, камень, о который спотыкаешься в самом начале пути.

— Не думаю, — просто ответил я. — Меня зовут Симон.

— Нет, — возразила она.

— Да, да, уже тридцать восемь лет.

— Ты ничего не знаешь, — отрезала она. — Тебя зовут Свастика. Во сне ты веками бродишь по горам, пытаясь очистить душу. Ты хотел бы освободиться от ненависти. Но это осуществится, только если ты сумеешь рассказать историю того, с кем ты боролся, историю Миларепы, величайшего из отшельников[35]. Рассказав ее сто тысяч раз, ты наконец избавишься от сансары, бесконечного переселения твоей души.

Она вернулась на свое место, вновь спрятавшись за колеблющейся голубой завесой дыма. И продолжала повторять:

— Сто тысяч раз, ты слышишь, сто тысяч раз…

---

[34] Примечания: 34

Свастика (здесь имя персонажа) — крест с загнутыми под прямым углом концами, один из самых древних графических символов, олицетворявший у многих народов мира жизнь, движение, свет, благополучие. (*Здесь и далее примеч. перев.*)

[35] Примечания: 35

См. интервью писателя на с. 301–315.

Конечно, я подумал, что она не в себе, но запомнил эти два имени: Свастика (дядя) и Миларепа (племянник) и решил выяснить, кто они такие. В одной из библиотек я нашел песни Миларепы, могучего и почитаемого йогина. Мне захотелось побывать в Тибете, на крыше мира, и я совершил это путешествие. Я прочел стихи, которые Миларепа завещал своим ученикам. И узнал, в тридцать восемь лет, что меня действительно зовут Свастика и что это имя я ношу уже девять веков.

Из своих снов я понял: я был собакой, муравьем, грызуном, гусеницей, хамелеоном, навозной мухой. До сих пор я редко перевоплощался в человека, который мог бы что-то рассказать и тем самым освободиться. Моя душа переселялась не слишком удачно. Слишком часто я оказывался крысой или мышью, слишком часто погибал в мышеловке или кошачьей пасти. Сейчас я должен наверстать упущенное. В этот вечер после долгих расчетов я установил, что приближаюсь к ста тысячам. Впрочем, я не знаю: эта история — номер 99 999 или уже 100 000?

С такими цифрами как не ошибиться…

Моя история началась в Тибете. Я владел большими стадами.

Однажды в моих коз и яков вселились бесы. Животные страдали от лихорадки, ноги у них тряслись, голова кружилась, изо рта текла слюна. За несколько дней все они умерли. Я разорился.

Забрав несколько узлов — все, что оставалось от нашего имущества, — я с женой и сыновьями отправился к двоюродному брату, жившему в Кья-Нгаца. Тот принял нас очень радушно. Навстречу нам выбежал маленький Миларепа.

Помню, как он улыбался, стоя на пороге и широко открыв дверь.

Узнав о наших бедствиях, Миларепа очень расстроился. Он нас жалел, обнимал, хотел отдать моим сыновьям все свои игрушки. А когда узнал, что у нас с женой осталось только то, что на нас надето, заплакал. От его жалости в волосах у меня появились вши, а одежда превратилась в лохмотья. Его доброта меня унижала. Из-за его рыданий я осознал, что нищ. В тот вечер я понял, что возненавидел его навсегда.

Я начал тяжко трудиться. В этих краях заработать деньги было нетрудно. За несколько лет я сколотил порядочное состояние.

Миларепе было шесть лет, когда его отец умер. По завещанию, я должен был взять на себя ответственность за мальчика, его мать и младшую

сестру. Все их имущество: яки, лошади, овцы, коровы, козы, ослы, поле и делянки, а также золото, серебро, медь, железо, бирюза, шелковые ткани, запасы зерна — все это временно поступало в мою собственность и должно было вернуться к Миларепе, когда он станет главой семьи.

Над телом двоюродного брата, слушая плач его родных, я решил, что маленький Миларепа больше никогда не посмеет улыбаться, как улыбался мне, что больше никогда не прольет слез жалости и сочувствия, слез богача, скорбящего о судьбе бедняка.

Я выгнал его из большого дома и заставил всех троих работать.

За несколько лет мать превратилась в беззубую скрюченную старуху с неряшливой седой копной на голове. Сестра служила у других посудомойкой. Что до Миларепы, он похудел, побледнел; в его когда-то золотых кудрях завелись вши. Но он рос и, несмотря ни на что, хорошел. Рассчитывая вернуть свое добро, он высоко держал голову, верил в справедливость, называл меня дядей и даже не считал вором. Я его ненавидел.

В двадцать лет, когда он явился требовать свое наследство, ему стало ясно, что он ничего не получит. Он меня долго оскорблял, а потом запил.

По утрам его, пьяного, находили в канавах. Он стал как все. Наконец-то склонил голову.

Затем он куда-то исчез. Я добился своего! Но чтобы отомстить ему в полной мере, мне нужно было еще одно — чтобы его сестра окончательно превратилась в продажную женщину. Ей и до сих пор случалось торговать собой, но только иногда, если подаяний не хватало на жизнь.

Сыновья один за другим женились. Дом наполнился радостными беременными невестками. Мои накопления округлялись, как их животы. В тот год казалось, что и весна длится дольше, и зелень стала ярче. Моя жена говорила, что это счастье.

Все случилось в день свадьбы младшего сына. За столами веселились тридцать пять человек гостей. Мы с женой вышли дать распоряжения слугам. Ох, не стоило бы выходить!

Из конюшни выбежала служанка и, как безумная, закричала:

— Господин, господин, лошади пропали!

Я бросился в конюшню. Но вместо лошадей увидел в стойлах массу скорпионов, пауков, жаб, змей и головастиков. Это пахло черной магией.

Я кинулся предупредить гостей. Слишком поздно!

В зал ворвался табун взбесившихся лошадей. Под адское ржание жеребцы, все в поту и пене, покрывали кобыл, вставали на дыбы и с ревом ударяли копытами по стенам и колоннам. Через несколько мгновений дом зашатался, балки затряслись, крыша дрогнула и провалилась. Ржание обезумевших лошадей, крики отчаяния, хруст костей — и над развалинами поднялось громадное облако пыли.

Потом наступила тишина, холодная, торжественная, тишина вечных льдов в замерзшем сердце зимы.

Тридцать пять человек. Среди них мои сыновья и невестки. Все мертвы. У меня и жены даже не было сил кричать или жаловаться. Почему мы сами не умерли?

Тут-то на развалинах появилась Белая Гирлянда, танцующая от радости.

— Миларепа, сын мой, прими материнскую благодарность! Ты отомстил за нас всех. Спасибо тебе, что за эти долгие годы ты освоил науку колдовства. Я не жалею, что отдала тебе все свои припрятанные сбережения, ведь благодаря им ты стал настоящим мастером. Хвала тебе, сын мой, спасибо!

Я встал, желая убить ее. Но меня остановили

деревенские жители.

— Не трогай ее, не то он отомстит.

В разгроме, учиненном Миларепой, все до одного потеряли кого-то из близких. Каждый день кто-нибудь из деревенских вызывался убить его мать. Удерживать людей становилось все труднее. Тогда Белая Гирлянда довела до общего сведения письмо, якобы присланное сыном, но, я уверен, сочиненное ею самой.

«Матушка, — говорилось в нем, — если жители деревни будут проявлять к вам особо сильную ненависть, сообщите мне письменно имена их самих и их родственников. С помощью колдовства я смогу их умертвить с такой же легкостью, с какой бросаю в воздух щепотку зерна. Я уничтожу всех вплоть до девятого колена».

Односельчане потребовали от меня вернуть матери поле. Сами они с тех пор ей улыбались или ее избегали.

Невзирая на свой солидный возраст, я решил снова нажить богатство. Конечно, у меня больше не было наследников, но я все равно хотел восстановить то, что утратил.

Лето стояло чудесное. По словам стариков, никогда еще земля не родила столь щедро. Мы готовились собирать урожай, но тут на небе по-

казалось облачко, совсем крошечное, размером чуть больше воробья.

А потом явился Миларепа. Он поднялся на скалу, возвышающуюся над долиной, и начал осыпать меня проклятиями:

— Сдохни, Свастика, ядовитый змей, прикуси язык и задохнись от собственного яда. Распухни! Лопни! Разлетись на куски! Жабья слизь, мерзкий гнойник, вонючка! Дерьмо, дерьмо с человечьим лицом, нет, с задницей вместо лица! Дохлое дерьмо, в котором даже черви и мухи не водятся, ну погоди, станешь еще дерьмовее!

Он призвал в свидетели бесов, упомянул всех святых, рассказал, как плохо я с ним обращался, и заплакал кровавыми слезами.

Потом на небе появились никогда доселе не виданные черные тучи. Миларепа закричал, и тучи, словно крик сорвал их с опоры, всей массой свалились на поля. По земле застучал град, с гор ринулись потоки воды, ураганный ветер с дождем уничтожили все, что пощадила вода. Ничего не осталось ни от урожая, ни от людей, ни от домов. Лишь несколько человек, среди них мы с женой, сумели укрыться в окрестных пещерах.

Через несколько дней в том же кафе я вновь увидел странную женщину…

(Ах да, сейчас я — это Симон, а не Свастика, Симон девять веков спустя. Сейчас я привык, что во мне живут две личности, привык вести две жизни — ту, что с черным кофе на мраморном столике, и ту, куда выносит волна моих снов. И там и там — я, от этого мне легче. Когда я был только Симоном, на меня словно давила какая-то тяжесть, я чувствовал себя скованным, застывшим, как будто обреченным на невидимое заточение.)

…итак, я наблюдал за странной женщиной, а сам рассказывал историю Миларепы старому другу времен студенчества, другу, который всегда казался мне старым, даже в двадцать лет. Он же, скептически попыхивая трубкой, спросил:

— Ты веришь в колдовство?

Можно было подумать: ответ на этот вопрос для него столь же важен, как две ноги для ходьбы. Я так удивился, что замешкался с ответом. Он продолжал:

— Я верю в бурю и град, но не верю, что их вызвал человек и его заклинания. Верю, что твой дом обрушился, что лошади взбесились, но не верю в колдовские манипуляции. А ты сам-то как считаешь?

— Я? Кто, я?

— Да, ты, Симон. Я же с тобой говорю!

— Но я ничего не считаю, я просто рассказываю.

Не знаю, был ли мой ответ идиотским или, наоборот, очень мудрым. Впрочем, чем старше я становлюсь, тем меньше чувствую разницу между крайней глупостью и великим умом. Как между сном и реальностью.

Старый друг моргнул и затянулся, осмысливая мой ответ.

Потом взял спичку, зажег ее и поднес ближе ко мне.

— Я сам верю только в науку. Для любого объяснения достаточно физики и химии. Вот скажи, откуда взялся огонь?

Он явно дразнил меня.

Я схватил спичку и задул пламя.

— Гляди, если ты мне сейчас скажешь, куда делся огонь, я скажу тебе, откуда он появился.

Раны земли затягиваются быстрее, чем человеческие. Прошли годы, я отстроил дом, обзавелся имуществом, но моих сыновей было не вернуть. Как только выдавался свободный день, я брал палку и отправлялся в горы искать Миларепу. С белозубой юности до седовласой старости я не переставал его ненавидеть. Пока…

Но обо всем по порядку. Я ведь должен рассказать всю историю Миларепы. Иначе эта жизнь мне не зачтется.

После того страшного дня Миларепа не знал покоя. Ночью он не мог спать, его преследовали лица гибнущих людей, их протянутые руки. Он видел, как матери ищут детей в стремительных потоках, как несчастные захлебываются, ощущал ужас последних минут агонии… Миларепа понял, что его сила служила одному лишь злу, и сам пришел от себя в ужас.

Он желал душевного покоя, как страдающий от жажды мечтает о воде. И решил отправиться к великому Марпе Переводчику, который, по словам окружающих, лишь один мог ему помочь. Идя по Березовой долине, он вспоминал, сколько времени ему потребовалось, чтобы овладеть колдовскими заклинаниями, — два года. Несомненно, такой же срок понадобится, чтобы научиться творить добрые дела. Входя в дом Великого Ламы, он чувствовал себя почти счастливым.

Марпа ждал его, потому что предыдущей ночью видел сон, который возвестил ему приход Миларепы и открыл, что они были связаны еще в предыдущих жизнях. Пристальный взгляд Мар-

пы остановился на пришельце.

— Достопочтенный Лама, великий Марпа, я чудовищный преступник.

— Если ты преступник, не обвиняй себя передо мной. Меня ты ничем не оскорбил.

— Я вверяю вам свое тело, свое слово и свое сердце, а у вас прошу пищи, одежды и обучения. Укажите мне путь, ведущий к совершенству в течение одной жизни.

Марпа стряхнул пыль с одежды, словно что-то его раздражало. Опустив веки, он ответил:

— Я принимаю в дар твое тело, твое слово и твое сердце. Но я не дам тебе пищи и одежды одновременно с обучением. Или я дам тебе пищу и одежду, а за обучением ты обратишься к другому, или я буду учить тебя, а пищу и одежду ты будешь искать в другом месте. Или то, или другое, ты должен выбрать!

— Я выбираю обучение у вас.

Марпа начал энергично скрести локоть. Миларепа радостно воскликнул:

— Я буду жить подаянием, просить у жителей долины еду и одежду.

— Ладно, — ответил Марпа, на руке которого выступила кровь. — А теперь выйди из храма и вынеси свою книгу заклинаний. От твоего запаха

божества задыхаются.

Так холодно принял Миларепу Великий Лама. Его жена оказалась гостеприимнее. Она предложила гостю миску супа и показала место, где прилечь.

На следующий день Миларепа начал просить подаяние по всей долине.

Марпа наконец навестил ученика и спросил, каковы были его преступления. Миларепа рассказал про свою месть, разрушение дома, бурю и град.

— Отлично, — сказал Марпа, — теперь ты сделаешь то же самое для меня. Полезай вон на ту скалу и пошли град на Йаброг и Линг. Потом устрой небольшую бойню для горцев, живущих по дороге к Лхобраку.

Исполнив все это, Миларепа распростерся перед Марпой и потребовал сообщить ему, как достигнуть высшего совершенства.

Марпа побагровел и закричал. Слова извергались из его рта, как плевки.

— Что я слышу? В ответ на твои преступления? Поведать тебе тайну добра после совершенного тобой зла? Да у тебя ни капли достоинства! Ты не заслуживаешь моего внимания, ни одного моего слова! Немедленно иди восстанови урожай жите-

лям Йаброга и Линга и верни здоровье горцам. И пока не кончишь, не смей являться ко мне.

Миларепа понял, что ему надо искупить вину. Он постарался как мог и вновь упал к ногам Марпы:

— Великий Лама, я раскаиваюсь. И жду обучения.

Марпа почесал в затылке. Всякий раз, как он видел Миларепу, у него начинался зуд.

— Попозже, попозже… Ты еще не готов. Зло легче творить, чем добро, и гораздо быстрее, тут не надо усилий. Но зло липнет к тебе. От него не так просто избавиться…

— Великий Лама, умоляю!

— Построй мне круглую башню.

— Простите?

— Мне нужна круглая башня. Выстрой круглую башню.

И Миларепа начал собирать и тесать камни, рыть землю под фундамент, намечать план постройки… И вот она стала постепенно подниматься. Спина и руки Миларепы кровоточили от тяжких усилий, но башня росла и росла. Когда она была почти готова, явился Марпа:

— Что ты делаешь?

— Я заканчиваю круглую башню, Великий

Лама.

— Ты спятил? Я тебя никогда не просил строить круглую башню! Немедленно разбери ее. И отнеси камни и землю на место!

— Но… Достопочтенный…

— Ты слышал, что я сказал?

Миларепа выполнил приказ. Разобрав башню и отнеся камни и землю на место, он упал в ноги Марпе:

— Великий Лама, я раскаиваюсь. И жду обучения.

— Построй мне башню в форме полумесяца.

Не говоря ни слова, Миларепа принялся за работу. По крайней мере, теперь он знал, где искать камни. И Миларепа начал собирать и тесать камни, рыть землю под фундамент, намечать план постройки… И вот она стала постепенно подниматься. Спина и руки Миларепы кровоточили от тяжких усилий, но башня росла и росла. Когда она была почти готова, явился Марпа:

— Что ты делаешь?

— Строю башню в форме полумесяца, Великий Лама, башню, которую вы попросили.

— Я попросил такую башню? Что за бред! Немедленно уничтожь эту бородавку! И отнеси камни и землю на место.

— Но… Достопочтенный…

— Ты слышал, что я сказал?

Миларепе хотелось плакать, но вместо слез у него потекла кровь — настолько его руки и спину изуродовали блоки гранита. Все же он выполнил приказ и отнес все на место.

Утром к нему в келью вошел улыбающийся Марпа.

— Я хорошенько подумал, Миларепа. Построй мне треугольную башню.

— Вы уверены, что вам нужна такая башня, Великий Лама?

Великий Лама начал чесаться, как будто Миларепа был блохой или слепнем — чем-то презренным и в то же время невыносимым.

— По-твоему, за мной водится привычка говорить неизвестно что?

И Миларепа начал собирать и тесать камни, рыть землю под фундамент, намечать план постройки… И вот она стала постепенно подниматься. Спина и руки Миларепы кровоточили от тяжких усилий, но башня росла и росла. Все его тело представляло собой одну гигантскую рану. Иногда с наступлением темноты к нему тайком приходила жена Ламы, приносила лечебную мазь и миску супа.

Миларепа достроил треугольную башню и радостный явился к Марпе:

— Великий Лама, я закончил треугольную башню. Жду обучения.

— Что за чушь! Разрушь эту никчемную постройку. И отнеси камни на место.

— Но… Достопочтенный…

— Ты слышал, что я сказал?

Великий Лама даже не поднял своих фиолетовых век, чтобы посмотреть на Миларепу.

— Ты мне надоел, Миларепа, если бы ты знал, как ты мне надоел… Ты, значит, ничего не понимаешь?

— Да, Великий Лама, я ничего не понимаю. Я просто вижу, что вы готовы помочь кому угодно, рассказать, как достичь счастья, любой искусанной блохами бродячей собаке, но только не мне.

При слове «блохи» Великий Лама начал чесаться.

— Ты что, пьян?

Он открыл глаза, пристально посмотрел на Миларепу и тут же с силой ударил его.

— Мне тебя жалко. Построй мне белую башню в девять этажей с островерхой крышей. Эта башня останется стоять. Когда ты ее закончишь, я передам тебе секрет счастья.

И Миларепа начал собирать и тесать камни, рыть землю под фундамент, намечать план постройки… И вот она стала постепенно подниматься. Спина и руки Миларепы кровоточили от тяжких усилий, но башня все росла и росла. Миларепа думал, что на этот раз Лама непременно выполнит свое обещание.

Прошло несколько месяцев. Миларепа достроил белую башню в девять этажей с островерхой крышей и пришел за обещанной наградой.

Лама набросился на него и стал вырывать ему волосы, хлестать по лицу и бить о стены. Миларепа и охнуть не успел, как очутился на земле, весь в крови и синяках. Над ним возвышался грозный Лама, готовый при малейшем движении его век нанести новый удар.

— Ты просто слабоумный, Миларепа, в этом монастыре никогда еще не было такого дурака! Неужели ты ничего не понимаешь? Ты правда веришь, что все можно купить за одну идиотскую силу твоих мускулов? И ты правда веришь, что какая-то башня, будь она круглой, квадратной, в виде полумесяца, восьмиугольной или девятиэтажной, может привести тебя на путь мудрости? Да у тебя в голове меньше ума, чем у любого придорожного камня!

Тут Марпа пришел в ярость и снова начал бить Миларепу. Пришлось вмешаться монахам, они вырвали его из рук разъяренного Ламы.

Ночью жена Марпы пришла лечить Миларепу.

— Странно все это, — сказала она. — Почему он отказывается учить тебя и только тебя? Не знаю. Мне-то он говорит, что ты для него как любимый сын… Может, он ждет, что ты поднесешь ему подарок, как другие? Я тебе дам кое-что из моих вещей. Большую порцию масла, маленькую медную кастрюльку и, главное, вот этот изумруд — я слышала, что он очень ценный.

Когда назавтра Миларепа со своими завернутыми в шелковую ткань дарами предстал перед Ламой, тот прогнал его:

— Все это я получил в подарок от других! Ты мне даришь мое собственное добро! Приноси мне только то, что сам раздобыл.

— Великий Марпа, я ухожу. Вместо обучения я заслужил одни оскорбления, побои и полное истощение сил.

— Куда ты денешься? По приходе ты вручил мне свое тело, свое слово и свое сердце. Ты принадлежишь мне. Я мог бы разрезать твое тело, слово и сердце на сотню кусков. Ты мой, потому что принес мне клятву верности.

И Миларепа остался. Остался и сказал себе, что в этой жизни никогда не достигнет совершенства.

Мне очень нравится эта часть истории, то есть Свастике нравится. Но и мне тоже. Ничто не наводит на меня такой тоски, как негодяи, которые вдруг преображаются и начинают творить добро с той же легкостью, с какой творили зло. Богатырь, преуспевший в святости, действует мне на нервы.

Вообще-то — я говорю «вообще-то», но никакой связи тут нет, — странная женщина исчезла. Может, рассеялась в воздухе вместе со своим облаком дыма… Не сказать, что я очень огорчился, нет, но рассердился на официанта, который говорит, что в его кафе на банкетке в глубине зала никогда не сидела странная женщина, окутанная дымом сигареты! Мне это очень не понравилось, потому что я всегда считал: официант, если он настоящий профессионал, должен обладать хорошей памятью и наблюдательностью. Что до моего старинного друга со скептической трубкой, он, естественно, думает, что этой женщины вообще не существовало.

— Это была иллюзия. Несомненная иллюзия.

— Само собой, — ответил я. — Но разница между тобой и мной в том, что я вижу иллюзии.

Миларепа, закрывшийся в келье и убежденный в своей беспомощности, думал: «Когда я совершал зло, мне хватало и на жизнь, и на подарки. Сейчас, когда я живу согласно принципам веры, у меня нет ничего. Будь у меня хоть половина золота, что я имел раньше, меня допустили бы до инициации и тайного знания. Но бедным религиозная жизнь запрещена».

Не веря больше обещаниям Ламы, Миларепа решил покончить с собой и приготовил яд.

— Пока я существую в этом теле, в теле Миларепы, я никогда не достигну тайного знания. Я только и делаю, что совершаю ошибки, значит мне остается лишь одно — убить себя. Я надеюсь, что смогу возродиться в новом теле, достойном религиозной жизни!

Но жена Ламы остановила его:

— Знай, Миларепа: нет более страшной вины, чем оборвать собственную жизнь. С такой кармой ты обречен, ты станешь блохой или навозной мухой.

Лама, узнав, что лежащий в прострации Миларепа не собирается умирать, но и не желает жить, улыбнулся и велел привести его к себе. Впервые Лама посмотрел на Миларепу прямо и открыто, впервые не испытал в его присутствии зуда. И

мирно сказал ему:

— Сейчас все вошло в свою колею. Иначе и быть не могло. Ни ты, ни я не сфальшивили. Я лишь испытывал колдуна, которым ты был в прошлом, чтобы очистить тебя от грехов. Иногда суровость давалась мне нелегко. Но если бы я, как моя жена, поддался жалости, ты почувствовал бы мою снисходительность, искреннюю, но бесполезную; жалость никому не позволяет исправиться. Каждая построенная тобой башня свидетельствовала об акте веры. Ты не отступал от нее ни разу. Теперь я принимаю тебя, и ты становишься моим учеником. Мы предадимся медитации и испытаем счастье.

Он остриг меня. Наконец-то я имел право на гладкий череп и круглую голову, символизирующую простоту и отказ от мирских благ.

— Миларепа, твое подлинное имя открыл мне мой учитель Наропа во сне, который предшествовал твоему появлению.

Марпа назвал меня Мила Блеск Алмаза. Я принес ему обет послушания, а он заповедал мне помогать другим, преодолевая собственные страдания, а позже, уже после смерти, возвращаться на землю столько раз, сколько нужно, чтобы продолжать свою миссию. Он хотел сделать из меня

подлинного бодхисатву — наставника, ведущего людей по пути внутреннего совершенствования.

— Прошу прощения, я как будто сказал «я»… Я действительно произнес «я»? «Я — Миларепа»?

Да, так оно и есть.

Удивительным образом в какой-то момент я начинаю вести рассказ от лица Миларепы. Занятно! Когда рассказываешь чью-то историю, это не проходит даром. Вот и я, переходя от Симона к Свастике и от Свастики к Миларепе, забываю свои имена, свое происхождение, теряю этот багаж привычек и рефлексов, которые другие называют моим «я». И путешествовать становится легче.

Да разве это важно?

В общем, если такое опять случится, поправьте сами.

Великий Лама Марпа собрал необходимое продовольствие и отвел Миларепу к старой тигриной пещере в скале на юге. Наполнил маслом лампу с жертвенника и поставил ее на голову ученика.

— Медитируй днем и ночью и не вставай с места. Будешь двигаться — лампа погаснет, и ты окажешься в темноте.

— А дневной свет?

— Никакого дневного света, вход в пещеру я

замурую.

И Марпа заложил вход кирпичами и еще залил их строительным раствором.

Я, не двигаясь, медитировал днем и ночью, я перестал считать часы и недели, мой дух был целиком поглощен медитацией, время перестало существовать. Но оказалось, что в своем полном одиночестве я был не один: меня преследовали бесы, неосознанные побуждения, воспоминания, желания; они наваливались со всех сторон. Мне хотелось двигаться, встать, уйти, убежать от самого себя; я был как царь, вечно борющийся с мятежами и восстаниями, вечно чувствующий угрозы со стороны. Впрочем, иногда на меня нисходило чувство покоя, черную ночь озарял безмолвный рассвет.

Вдруг до меня донесся голос любимого Ламы:

— Сын мой, разрушь стену. Выломай дверь и приди с миром ко мне. Ты не покидал своего места одиннадцать месяцев.

Я с трудом поднялся и начал выламывать кирпичи. Но тут же остановился — что, если Лама опять передумает?

— Я тебя жду, сын мой, я тебя жду, — повторил Марпа.

— Ну где же ты? — прошептала его жена.

Я разрушил стену и вышел на свет. Великий Лама, казалось, был счастлив.

— Ну так чему же я тебя научил за эти одиннадцать месяцев?

Действительно, чему он меня научил? Что я за одиннадцать месяцев извлек из учения отсутствовавшего Великого Ламы?

Я понял, что бесполезно повторять заклинания; добиться чего-то можно лишь трудом. Я понял, что добро требует больше волевых усилий, чем зло. Я понял также, что мое тело похоже на неустойчивый корабль: если нагружать его преступлениями, он пойдет ко дну, но, если сбрасывать балласт, отказываясь от мирских благ, проявляя щедрость и самоотверженность, он придет в нужный порт. Я понял наконец, что прежде был не человеком, а лишь двуногим существом с некоторым количеством волос, умеющим произносить слова, но человеком мне лишь предстояло стать. Эта цель маячила вдалеке. Смогу ли я когда-нибудь стать человеком?

Я продолжал учиться у Марпы.

Но однажды ночью мне приснились родные места, и я проснулся весь в слезах, с неудержимым желанием увидеть мать, сестру и наш дом. Я сказал Великому Ламе, что мне необходимо

отправиться в Кья-Нгаца.

Я впервые увидел, как Марпа заплакал:

— Если ты уйдешь, Мила, я никогда больше тебя не увижу.

— Но, Достопочтенный, я только хочу встретиться с матерью. Потом я вернусь в монастырь.

— Нет, я прекрасно знаю, что ты не вернешься. Останься еще на несколько дней, я доверю тебе свои последние тайны. После этого ты пойдешь навстречу своей судьбе.

И Великий Лама дал мне последние наставления. Я решил, что все понял, но в дальнейшем стало ясно, что я усвоил лишь внешнюю сторону, лишь слова, они вошли в мою память, но не в тело, не в душу.

В последний день во дворе, где присутствовали все ученики, Марпа показал нам символы: алмазный колокольчик, колесо Дхармы, лотос, меч и семицветную радугу… Тогда я понял, что Лама достиг состояния Будды, Просветления. Это наполнило меня бесконечной радостью.

— Проведи эту ночь рядом со мной, — сказал мне Марпа.

И я провел ночь рядом с Учителем.

Утром его жена стала громко жаловаться и плакать. Марпа принял ее сурово, словно не по-

нимал, в чем дело.

— Миларепа нас покидает, но это не причина для слез. Из-за чего стоит плакать, так только из-за того, что, в сущности, все разумные создания могут стать Буддами, но им это неведомо, и они умирают в страданиях, не познав идеала. Если ты плачешь из-за этого, тебе придется лить слезы непрерывно, днем и ночью.

— Я не могу перенести, что сын от нас уходит еще при жизни.

И она зарыдала еще громче. У меня тоже подступили к горлу рыдания. Даже у Ламы глаза увлажнились, но он улыбался, словно озаренный радостью.

— Не будь так суров со своими учениками, как я с тобой. Никто не вынесет того, что пришлось пережить тебе.

Это были его последние слова. Как предписывает традиция, я припал к его ногам, а затем удалился.

Я шел несколько недель, питаясь подаянием, и наконец добрался до родных мест. С перевала я увидел свой дом с четырьмя колоннами и восемью балками, весь изъеденный трещинами, как уши старого осла; крыша к тому же протекала. На моем поле росли одни сорняки.

Мне хотелось броситься туда бегом. Но сердце билось слишком сильно, я боялся, что от радости или горя оно разорвется. Следовало подождать.

На закате я решился спуститься.

Я вошел в дом.

На священных книгах лежала земля, пропитанная дождевой водой. Тома покрывал птичий помет, среди них устроились крысы. Я подошел к очагу. В нем из смеси пепла с землей поднимались какие-то растения. Рядом я увидел кучку хрупких белых костей и понял, что это останки моей матери.

Я потерял сознание.

Чрезмерно сильные желания лишают душу покоя.

Я слишком сильно хотел увидеть мать. Эта жажда сжигала меня неделями. «Тот, кто может себя ограничивать, обуздывать свое стремление к встрече, остается хозяином своей судьбы». Мне вспомнились эти слова Ламы. Сейчас я нуждался в них.

«Ничто не вечно, ничто в действительности не существует». Что я видел вокруг? Одни развалины. И человеческие останки. То, что когда-то существовало, больше не существует. Я был сыном своей матери, но я больше не ее сын. Этот

дом был моим, но он больше не мой. Люди и скалы столь же эфемерны, как облака и ветер. Моя встреча с матерью была иллюзией. Наше расставание — другой иллюзией.

Я предался созерцанию и ясно понял, что мои отец и мать освобождены от страдания, заключенного в переселении душ.

Я медитировал семь дней. Затем закинул за спину книги, забрал останки матери. Стоило мне подняться, как меня снова охватила печаль; я чувствовал себя отяжелевшим, с трудом держался на ногах. Я понял, что еще очень далек от состояния Будды.

Я был слишком привязан к мирским делам.

Я ни от чего не отказался.

Сейчас мне следовало удалиться в пустыню.

Миларепа нашел пещеру, где укрылся для медитации. Тогда-то я с ним и встретился. Я — это Свастика, дядя Миларепы.

Я проверял, хорошо ли пастухи заботятся о наших пастбищах. Сидел в палатке, и тут какой-то нищий с взъерошенными волосами просунул в нее голову:

— Пожалуйста, подайте отшельнику. Я буду молиться за вас.

Я немедленно узнал его:

— Пошел вон, выродок! Как ты посмел явиться ко мне после всего зла, которое причинил!

Он начал оправдываться. Дескать, это мы, дядя и тетя, отняли у него все имущество и тем побудили к совершению зла. Я палкой прогнал его, да еще и спустил собак.

Потом я кинулся в деревню, чтобы рассказать обо всем жене. Едва я кончил, как в нашу дверь постучался Миларепа.

— Подожди, — сказал я жене, — сейчас я от него навсегда избавлюсь.

Я вышел, захватив с собой лук и стрелы. Прицелился, но тут услышал голос Миларепы:

— Дядюшка, я предлагаю вам взять в пользование мою землю. А вы дайте мне взамен немного муки и специй.

Вокруг поднялся шепот: все нашли это предложение благородным и справедливым, все считали, что я должен его принять. Но я терпеть не могу, когда другие решают за меня. От гнева у меня раздулись вены, изо рта потекла слюна. Сердце не выдержало.

Я очень плохо помню последние месяцы жизни — жизни в теле Свастики. Я был тяжело болен, не мог держаться на ногах, я был, как стыдливо говорили окружающие, «очень ослаблен». Если бы

так! «Ослаблен…» Но два чувства во мне не ослабевали: ненависть к Миларепе и страх смерти.

Миларепа удалился в пещеру белой скалы, вдалеке от всякого жилья. Сидя на жесткой циновке, он предавался созерцанию. Питался он одной крапивой и исхудал так, что превратился в скелет и приобрел цвет крапивы. Даже волосы у него позеленели, он стал походить на труп. Из одежды у него имелся лишь старый дырявый кусок материи, которым он обматывал бедра. Миларепа так истончился, что его стали называть «человек-ткань». В округе он считался великим святым. Очень многие стремились попасть к нему в ученики. Все, что я слышал о нем, доставляло мне больше страданий, чем сто тысяч ударов копья.

Мои дни и ночи — я уже не различал их — были заполнены страхом смерти. На самом деле я не так боялся умереть, как потерять все, что накопил за жизнь: бирюзу, посуду, шелка и атлас, золото, семена, земли. Все это перейдет в чужие руки — неумелые, ни к чему не способные, гнусные, не заслуживающие моего добра. Смерть — злой похититель. Ночью я часто садился в постели и кричал: «Держи вора!» Окружающие думали, что это я о Миларепе, но нет, я думал о смерти, которая только и ждала возможности меня огра-

бить, спокойная, уверенная в себе, неотвратимая, никому не заметная воровка, давно уже вошедшая в дом моей жизни и тайком поджидающая своего часа. В моей же комнате она издевалась надо мной, маринуя в поту, кидая от страдания к боли, от пробуждения к бессоннице, притом спокойно и уверенно, зная, что в конце концов заберет все — мое тело, мое время, мою одежду, мои богатства. Держи вора!

Чем больше я боялся смерти, тем больше ненавидел Миларепу. Думая о смерти, я невольно возвращался мыслями к нему. Человек-ткань сумел отрешиться от всего, что было мне дорого. Несомненно, богатые считали его ничтожеством, девушки — уродом, сильные — слабым, но я-то понимал, что он, со своими костями, выступающими под кожей восковой желтизны, по-настоящему счастлив. Человек-ткань, который не дорожит ничем, даже дырявой тряпкой, под которой можно скрыть причинное место, — я слышал, что он прохаживается совершенно голый. Зеленый и голый…

Зеленый и голый… в моей могиле. И при этом я знал, что живой — это Миларепа, а настоящий мертвец — я.

Нет ничего страшнее здравого смысла, приняв-

шего форму ненависти. В мои тогдашние часы на земле Тибета, на ложе страдания, передо мной наконец забрезжила мудрость. Ее олицетворял тот, кого я ненавидел, против которого ожесточался всю жизнь.

Я еще помню свое последнее мгновение. Не вздох сожаления, нет, это был крик ненависти.

Свастика умер. Веками он перемещался из тела в тело и в конце концов вошел в меня, Симона, постучавшись однажды ночью в дверь моих снов. Впрочем, я говорю «в конце концов», так как надеюсь: я, Симон-Свастика, приближаюсь к стотысячному разу. Потому что, по моим подсчетам… Ладно, увидим…

Свастика так и не узнал, что его вдова, едва остыл труп мужа, нагрузила на яка какое-то продовольствие и отправилась к белой скале, где находился ее племянник.

Миларепа предавался медитации вместе с сестрой — она отыскала его, покончив с жизнью продажной женщины. Тетя не посмела пройти по мосту, который вел ко входу в пещеру.

— Миларепа, я упрекаю себя. Твой дядя умер в жестоких страданиях. Я поняла, что всю жизнь мы шли по неправильному пути. Миларепа, ты можешь мне помочь? Мне кажется, я без тебя не

справлюсь.

Сестра вскочила и принялась оскорблять тетку. Она вспомнила далекое прошлое, — по ее словам, все несчастья семьи произошли из-за родственников.

— Какие несчастья? — спросил Миларепа. — Я счастлив, как никогда. Я научился отрешаться от самого себя, чувствовать тщетность мирских благ и молиться о судьбе других созданий.

— Миларепа, — возразила сестра, — но ведь это из-за них нам пришлось расстаться, из-за них умерла мама, из-за них мы всю жизнь нищенствовали.

— Я не вижу в нищенстве ничего унизительного.

— Миларепа, — умоляла тетя, — прости меня.

— Пройди по мосту.

— Нет, я не согласна! — закричала сестра. — Пусть убирается, откуда пришла!

— Не слушай мою сестру, иди по мосту.

— Я не хочу ее видеть!

— Сестренка, те, кем управляют какие бы то ни было желания и злопамятность, ничем не могут помочь другим. Они и себе не могут помочь. Как если бы человек, упавший в бурную реку, вообразил, что кого-то спасает. Тетя, мы тебя ждем.

— Спасибо, дорогой племянник.

— Я не твой племянник. Я им был, но с этим кончено. Маленький Миларепа остался в далеком прошлом — прошлом, состоящем из плоти и крови, но я с ним больше не связан. У меня больше нет кровных родственников, моя семья — все человечество.

Я объяснил ей законы причин и следствий. Моя тетя преобразилась: и на словах, и сердцем, она стала отшельницей, идущей к собственному спасению с помощью религии и медитации.

Я все дальше продвигался по избранному пути.

Днем я изменял свое тело как хотел, принимая по зову воображения самые разнообразные формы, я летал по воздуху. Ночью, в снах, я мог еще глубже изучить вселенную, бывая на любых скалах, в любых лесах, под любыми небесами, воплощаясь в любые образы — животных, растений или минералов, переходя от воды к огню, от облака к землеройке.

Но я все еще не был уверен в себе. Выполняя волю моего учителя, я решил перебраться в Чубар. Я покинул белую скалу, взяв с собой горшок, в котором варил крапиву. Но, ослабленный лишениями, с покрытыми грязью ногами, я поскользнулся и упал, выпустив из рук горшок. У

него отбилась ручка, а сам он покатился по склону. Я не успел поймать его, он разбился о камень. Из него выскочила зеленая масса, сохранявшая форму горшка, — остатки вареной крапивы.

Я долго смотрел на них. Только что был горшок — и нет его. Осталась одна засохшая трава. Ничего нет постоянного в этом мире, все эфемерно.

Я разрыдался. Ведь я считал, что покончил со всем, что меня обременяло, но нет, этот злополучный горшок составлял мое богатство, я нуждался в нем, он господствовал надо мной. И даже разбитый, он демонстрировал свое превосходство, поскольку вызвал такие эмоции. Он принадлежал мне, но еще больше я принадлежал ему.

Теперь, когда я разбил глиняный горшок, что мне делать с подобием горшка из крапивы?

Я перешагнул через него.

Сегодня вечером на Монмартре особенно красиво. Париж — это декорация. Тибет — другая декорация. Ветер должен бы чаще раскачивать полотна декораций, чтобы в них трепетало дыхание небытия. Если проникнуть в самую глубину, во мрак того, что прячется за кулисами… Ничто не имеет значения, потому что все — лишь иллюзия.

Небытие…

Миларепа учил людей мудрости, исходя из небытия.

— Размышлять о нелепости человеческого существования, понять наше крайнее убожество, посмеяться над собой и смягчиться. Жалость уничтожает границу между тобой и другими, жалость делает щедрым. Щедрый придет ко мне. А тот, кто придет ко мне, станет Буддой.

С годами Миларепа больше не говорил, а пел.

— Нужно обуздывать свое «я». Отказ от самого себя дает очень много.

Он не переставал петь. И сочинил сто тысяч песен.

— Мне кажется, я все позабыл. Скрываясь в пещерах высоко в горах, я позабыл мир с его грубой логикой, отношение ко мне моих братьев и соседей. Потеряв свои знания, я позабыл иллюзии невежества. Предаваясь песням любви, я позабыл споры. Став кротким, я позабыл разницу между собой и другими.

Он склонился к Речунге, своему любимому ученику, и сказал:

— Я старею, мое тело покрывается морщинами. Скоро я покажу тебе признаки близкого переселения в другую сущность, признаки старости и болезни.

И он действительно показал.

Миларепа состарился. Теперь он готов был умереть, как зрелый плод бывает готов упасть с ветки.

Пришел день, когда он решил умереть.

Ученики нашли его тело — холодное и неподвижное. Его сочли мертвым. Ученики воздвигли погребальный костер, возложили на него тело и зажгли огонь. Но пламя отказывалось коснуться тела. Они пытались десять раз, двадцать раз, все было бесполезно, словно дрова сопротивлялись огню.

Потому что Миларепа еще должен был увидеть любимого ученика, своего духовного сына.

Когда Речунга пришел, Миларепа улыбнулся и обнял его:

— Я хотел умереть при тебе. Прежде чем уйти, я должен был убедиться, что посеял все свои семена.

Он повернулся к ученикам:

— Вот окончательная истина. Нет медитирующего, нет темы для медитации, нет вечной мудрости, нет тела Будды. Нирваны не существует, все это одни слова.

Он произнес это и навеки замолк.

Так, достигнув восьмидесяти четырех лет, в по-

следний месяц зимы, на рассвете, ушел из жизни Учитель Мила Блеск Алмаза.

Выйти из пустоты. Вернуться в пустоту.

Сегодня действительно стотысячный раз?

Сегодня Свастика в последний раз рассказал о судьбе племянника, которого не смог полюбить?

Каждый день я чувствую, что мне все меньше хочется рассказывать конец истории. Каждый день мне становится страшнее и страшнее.

Сегодня правда последний раз?

Мой день уже пришел?

Согласно предсказанию, я узнаю это, когда меня охватит мрак.

Мрак

Что нам приносит буддизм... *Интервью Бруно Мецгера*[36] *с Э.-Э. Шмиттом*

Б. М. Как вы познакомились с буддизмом?

Э.-Э. Ш. Буддизм словно рука, чудесным образом протянутая мне в очень тяжелый момент. Тогда мне исполнилось тридцать. И целых два года я почти каждый день ходил в больницу навещать дорогих мне людей, которые были очень серьезно больны. Почти каждый день! Вначале я с легкостью разговаривал, слушал, шутил, выражал им свою привязанность, покупал то, что они просили. Но со временем мне стало все труднее восстанавливаться после визитов к этим несчастным, больше не покидавшим постели. Конечно, я мог рассказывать им о внешнем мире, передавать какие-то сплетни, но безлично, будто исполняя выученный номер, а поддерживать теплые, искренние отношения мне уже не удавалось. Повседневность меня изнуряла, лишала непосредственности; я действовал больше из

[36] Примечания: 36

Бруно Мецгер — французский актер, театральный деятель и кинематографист.

чувства долга, чем из чувства симпатии; я видел не столько человека, сколько болезнь. И спасло меня чтение.

Б. М. Буддистский текст?

Э.-Э. Ш. «Тибетская книга жизни и смерти» Согьяла Ринпоче. Я ухватился за нее, потому что заглавие соответствовало тому, что я переживал. Я и не предполагал, что это шедевр духовной литературы.

Б. М. Чему эта книга вас научила?

Э.-Э. Ш. Принимать положение вещей… Я плакал, уходя от близких, я чувствовал себя плохо в их присутствии, так как в душе не признавал, что они превратились в лежачих больных, тем более умирающих. Я отрицал очевидное. Я отказывался мириться с нашей неизбежной уязвимостью. И злился на весь мир, на природу, на науку, на врачей, иногда на самих больных. Я не позволял затрагивать определенные трудные темы не только самому себе, но и больным. Между тем они инстинктивно чувствовали, что дело плохо, что они на пороге смерти, я же отказывался принять эту простую истину. Я создавал напряжение, ведущее к молчанию. Не к *доброжелательному молчанию,* при котором другого

слушают и понимают, а к *недоброжелательному*, неестественному и проникнутому страхом. Благодаря книге я смог мобилизовать все свои запасы отзывчивости, тепла и любви; мне на помощь пришли чувство юмора и воображение. Они и раньше у меня были, но в этой ситуации как бы закостенели. Советы, приведенные в книге, помогли мне расслабиться. И проводить целые часы у изголовья больных мне стало приятно.

Б. М. Вам не мог бы принести такого же умиротворения какой-то другой вид духовности?

Э.-Э. Ш. Нет, потому что для меня чрезвычайно важны были два элемента, которые, по-моему, имеются только в буддизме.

Б. М. Сострадание?

Э.-Э. Ш. Да, конечно сострадание. Открыть свое сердце другим. Почувствовать их сердце. В нашей западной традиции есть только жалость, эта иерархизированная добродетель. Некто, стоящий в собственных глазах выше другого, снисходит к нему. Ничего общего с состраданием, с этой глубокой сердечностью, с этой религией добра. Буддизм указал мне путь: перейти от спонтанного сострадания, которое испытываешь при виде страдающего человека или животного, к состра-

данию выстроенному, сознательному, прочному, безусловному и безграничному.

Б. М. Но ведь нечто подобное есть и в христианстве. Христос говорит: «Любите врагов ваших».

Э.-Э. Ш. Несомненно, но здесь в дело вступает второй характерный признак буддизма — толерантность. «Тибетская книга жизни и смерти» говорит нам о том, что не нужно проповедовать свою веру. Ни один человек не может спасти другого, воздействуя на него своими убеждениями. Не будем пытаться изменить другого под предлогом помощи ему. Каждый умирает, как жил. Поэтому смиренно примем глубочайшую истину: мы не обладаем сверхсилами и не можем полностью обезопасить жизнь дорогих нам людей. Мы можем предложить им лишь наше присутствие, наше внимание и нашу радость. Помощь весьма ограниченная, но мы должны предоставлять ее безгранично.

Б. М. С вами нельзя не согласиться. Но как осуществить это на практике?

Э.-Э. Ш. И тут буддизм хорош тем, что прагматичен и подсказывает нам, как себя вести. Одно из его правил тогда буквально перевернуло мою жизнь и впоследствии сильно повлияло на пи-

сательскую деятельность. Это правило: ставить себя на место другого.

Б. М. Сопереживание?

Э.-Э. Ш. Сопереживание в сочетании с воображением. Я пытался представить себя лежачим больным, неподвижным, одиноким, страдающим, и понять, в чем я нуждался бы больше всего: в физическом контакте, во внимании, в чьем-то взгляде, лишенном страха и осуждения. Может, мне захотелось бы дышать в одном ритме с кем-то или почувствовать его глубокую преданность.

Б. М. И что на практике?

Э.-Э. Ш. Больной не ждет, что мы полностью осуществим его желания, он ждет, что мы хотя бы попытаемся. И вот это внимание к нему гораздо важнее, чем ученые высказывания, блестящий ум и мудрые поучения.

Б. М. В общем, вы узнали о других столько же, сколько о себе самом…

Э.-Э. Ш. По существу, я многое узнал о нас. Помочь умирающим — значит освободиться от молчания и недомолвок, связанных со смертью. Страх, как и страдание, сковывает человека, навязывает ему одиночество. Работа над преодолением страха позволяет нам вернуться в

человеческую семью, сблизиться друг с другом.

Б. М. Вы сказали, что это повлияло на вашу писательскую деятельность. В чем именно?

Э.-Э. Ш. Есть два типа писателей: одни наделены воображением, другие нет. Я не говорю, что лучше, что хуже, просто констатирую факт. Писатели, лишенные воображения, намечают тему для изучения, занимаются самоанализом, исходят из собственного опыта, практического и психологического. Исследуя глубины собственного «я», они приходят к универсальности и предлагают читателям ориентиры, возможно весьма полезные. Писатели, наделенные воображением, интересуются другими: благодаря сопереживанию и поэтическому воображению они становятся на место других и пытаются их понять; эти писатели практикуют «знание через воображение». Благодаря буддизму я осознал все это и решился «отдать швартовы» и перевоплощаться в персонажей другого возраста, другого пола, другого темперамента, другой духовной принадлежности, другой эпохи. Я покончил с описанием собственной личности и пустился в открытое море новых возможностей. Разумеется, тут нет ничего специфически буддистского, творцам это известно на протяжении веков. Когда мне

посчастливилось встретиться с замечательным арабским писателем, лауреатом Нобелевской премии по литературе Нагибом Махфузом, мы только и говорили что о познании через воображение, хотя он принадлежит к мусульманской культуре, а я к христианской.

Б. М. Изменил ли буддизм ваше восприятие мира?

Э.-Э. Ш. Сразу уточним: я не буддист. Но как христианского гуманиста буддизм меня несомненно обогатил.

Б. М. Стало быть, в буддизме имеется нечто, чего христианство или гуманизм лишены?

Э.-Э. Ш. Буддизм стремится уничтожить страдание. Христианство не ставит себе такой цели: оно проповедует любовь, а страданию придает некий смысл. Может быть, буддизм приобретает сегодня все больше сторонников, потому что предлагает мудрость для нынешней, земной жизни, счастье в настоящий момент. Я это ценю, но в то же время меня удивляет успех доктрины пассивности в эпоху, как никогда уменьшившую физические и даже психические страдания! Благодаря прогрессу медицины, фармакологии, гигиены страдание во многом ушло из жизни, но мы хотим, чтобы

его стало еще меньше… В этом плане можно говорить о «современном духе» буддизма, о том, что он согласуется с потребностями нашей эпохи.

Б. М. В чем именно ваш гуманизм был обогащен буддизмом?

Э.-Э. Ш. «Обогащен», может быть, не совсем удачное слово, правильнее сказать «превзойден». Буддизм со своей теорией кармы и переселения душ создает связь между всеми живыми существами. Мы воплощаемся в разных животных — значит следует уважать всю природу. В буддизме граница между человеком и животным проведена не столь четко, как в сознании западного человека, она становится размытой. В буддизме человек не является центром мира. Буддизм экологичен.

Б. М. Но, выдвигая теорию переселения душ, буддизм не дает ее доказательств…

Э.-Э. Ш. Вам известна религия, которая давала бы доказательства? Если у доктрины имеются доказательства, это уже не религия, а наука. Ни одна религия не содержит истины.

Б. М. Хотя все они на нее претендуют…

Э.-Э. Ш. Религии побуждают нас верить во что-то, соглашаться с определенным ви`дением мира,

но ведь ясно: верить — совсем не то же самое, что знать. Мы можем принять то, чему учит религия, но не должны непременно считать ее догмы истиной.

Б. М. Какой же смысл тогда принимать эти догмы?

Э.-Э. Ш. Надо допустить существование тайны, надо признать наше невежество. Нам необходимы схемы вселенной, вносящие в хаос хоть сколько-нибудь смысла и порядка. Кроме видимого мира, нам необходим мир невидимый, составляющий его тайную основу.

Б. М. А это уже выдумки?

Э.-Э. Ш. Выдумки, но неизбежные. И откуда вам известно, что какая-то из этих выдумок не окажется правдой? Сила буддизма в том, что он соединяет крайности: с одной стороны, он очень практичный, даже приземленный, когда нужно помочь уменьшить страдания, с другой — глубоко поэтичный в своем великолепном видении космоса.

Б. М. Разве можно принимать поэзию всерьез?

Э.-Э. Ш. И даже более, чем что бы то ни было, потому что поэзия затрагивает все стороны духа — ум, воображение, чувствительность, память!

К тому же мне иногда кажется, что математика — тоже одна из форм поэзии. Кто не испытывал восторга перед изящным уравнением, гениальной аксиомой, завораживающей ум теоремой?

Б. М. Поэтому вы и написали о Миларепе — мудреце и поэте?

Э.-Э. Ш. Миларепа был великим учителем тибетского буддизма. Родившийся в 1040-м, умерший в 1123 году[37], он оставил две книги — «Жизнь Миларепы» и «Сто тысяч песен», где идет речь о его жизненном пути и учении. Это основополагающие книги, своего рода евангелия, продолжающие питать тибетский буддизм.

Б. М. Что вас так привлекает в Миларепе?

Э.-Э. Ш. Пройденный им путь… В молодости он совершает преступления, мстит за себя с помощью черной магии; это разрушитель, кровожадный, бесчеловечный тип, начисто лишенный жалости к врагам. Но потом его начинает мучить совесть, и он решает измениться. Под влиянием испытаний, назначенных Марпой, в его душе медленно, очень медленно наступает просветление. Зло совершается легко. Добро требует

---

[37] Примечания: 37
Согласно некоторым источникам, он жил в 1052–1135 гг.

гораздо больших усилий. Миларепа становится йогином и святым, хотя вначале ничто к этому не предрасполагало. Если мне рассказывают историю прекрасного ребенка, который становится идеальным взрослым, я нахожу ее скучной, меня она ничуть не трогает… А когда Миларепа, начав со злодейства, приходит к добру, это мне близко. Он дает пример, веками вдохновляющий тысячи людей.

Б. М. Каким образом ваш текст появился на свет?

Э.-Э. Ш. Это монолог, который я написал для Бруно Абрахама-Кремера, актера, верящего в высокую миссию театра. Он считает — и совершенно справедливо, — что театр должен отвечать потребности в духовном и священном. Сам я, поскольку читал в оригинале и переводил Эсхила, Софокла, Еврипида, не могу не согласиться с ним. Бруно поставил «Миларепу» в театре Види-Лозанна. На премьере мне пришлось отвечать на вопросы журналистов. Один из них, после весьма увлекательного интервью, спросил: «Вы сами, разумеется, буддист?» Ответив отрицательно, я понял, почему так важно говорить и писать о разных религиях и типах духовности, хотя сам я их не придерживаюсь. Это не связано ни с вопро-

сами веры, ни с поисками своей идентичности — мне просто интересны люди как таковые.

Б. М. Но и по этому тексту, и по другим видно, что буддизм вам очень близок. Что вам мешает провозгласить себя буддистом?

Э.-Э. Ш. Один пункт, простой и решающий, — концепция желания.

Б. М. Концепция желания?

Э.-Э. Ш. Буддист стремится искоренить желание, как и всякую чрезмерную привязанность. Миларепа, например, упрекает себя в том, что слишком сильно горюет после смерти матери. Вывод? Он работает над своими чувствами, стараясь достигнуть некой отрешенности. Если страсть приводит к страданию, надо укротить страсть. Получается, что любовь почти под запретом… Допустима одна доброжелательность. А я за любовь безумную, без условий, переходящую границы. Для меня счастье не состоит в отсутствии несчастий или страданий, от них не нужно прятаться, их нужно уметь пережить. Я хочу спокойствия, но не такой ценой — лишиться сильных эмоций или жизненных испытаний. Я не стремлюсь к безучастности, скорее к равновесию между радостью и болью.

Б. М. А вас не смущает, что можно принять «немного буддизма», а не весь его целиком? Словно существует рынок религий, где каждый покупает то, что ему подходит?

Э.-Э. Ш. Мы живем в замечательную эпоху, где каждая религия занимает подобающее ей место: одной из многих. В прошлом человек рождался христианином, мусульманином, буддистом, не имея возможности ни что-либо изменить, ни даже задаться вопросом, насколько обоснованны унаследованные им верования. Религия, к которой человек принадлежал от рождения, составляла естественную часть его идентичности. Переход в другую конфессию (случай крайне редкий) происходил или под давлением внешних обстоятельств, или по личному выбору, в котором человека впоследствии всегда упрекали и который обычно вызывал подозрения у современников. В наши дни ситуация полностью изменилась: человек является в мир, где представлены как многие религии, так и атеизм, сталкивается с разными течениями мысли. Тибетский буддизм, который к тому же особенно подталкивали к исходу, проникает на Запад как альтернатива монотеистическим религиям. Современность в том, что религия перестала

быть необходимостью и превратилась в предмет выбора.

Б. М. Как вы объясняете популярность буддизма, то есть восточной мысли, на Западе?

Э.-Э. Ш. На Западе сегодня торжествуют наука и техника, а мудрость хиреет. Как жить? Как стать счастливым? Великие идеологии, обещавшие привести человечество к счастью, рухнули, как и политические утопии. Соответственно и традиционные религии поблекли. Буддизм заполняет образовавшуюся пустоту. Он предлагает растерянной личности индивидуальный поиск. Он обещает счастье здесь, в земной жизни, а не в загробной, счастье прочное и длительное, пусть даже ценой испытаний и аскетизма. Поскольку многим западным людям, достигшим определенного материального комфорта, больше не нужно бороться, чтобы выжить, они должны научиться жить.

Б. М. Все религии учат нас жить!

Э.-Э. Ш. Жить и умирать. Иногда, впрочем, только умирать… Сила буддизма в его относительной слабости: он не связан ни с каким общественным установлением, мощным, ригористичным и догматичным. Буддизм не породил ни инкви-

зиции, ни Варфоломеевской ночи; буддизм не посылает к нам террористов, которые подрывают себя на рыночных площадях или разрушают башни в Нью-Йорке. Для буддизма характерны сдержанность и умеренность. Он пребывает в стороне от двух зол, разрушающих нашу цивилизацию, — меркантилизма и фанатизма. Тем, кто не различает «быть» и «иметь», кто видит счастье в обладании материальными благами, кто, не в силах перенести разочарование, прибегает к агрессии, он противопоставляет умеренное существование, где человек приучается познавать себя, сдерживаться и уважать то, что нас окружает. Тем, кто впадает в фанатизм, отказывает себе в сомнениях, кто задыхается от ярости, потому что вселенная разбивает их иллюзии, он предлагает мудрость — улыбающуюся, открытую, толерантную, которая учит жить в гармонии с другими. В этом безумном, ненадежном, раскалывающемся мире буддизм указывает на невероятный тип сопротивления — умиротворенность.